

АЛЕНА КРАВЦОВА

# СНЫ НА ГОРЕ



# Алена Кравцова

## Сны на горе

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=51145277](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51145277)*  
*Сны на горе: Геликон Плюс; Санкт-Петербург; 2019*  
*ISBN 978-5-00098-228-0*

### Аннотация

Книга состоит из двух частей.

Первую трудно поставить в какой-нибудь ряд. Автобиография? Нет. Семейная драма? Нет.

Яркий сколок тех лет, которые составляли наши дни и дни наших родителей. Взгляд с края, на котором все мы находимся сейчас в поисках ценностей и опор. Ценность – все, что нам даровано пережить. Опора – все, что мы сумели постичь в отпущенные нам времена.

Хотя общая история соткана из достоверных фактов, есть в этой прозе «вывороточный» эффект – дыхание параллельного мира, холодок инобытия, храбрость одинокого воина перед лицом того великолепного безумия, которое называется жизнью.

Вторая часть книги о том, что смерти нет, а есть продолжение жизни в других измерениях. И это тоже по-своему прекрасно. Эту часть можно назвать фэнтези.

# Содержание

Сны на горе. Третье измерение	6
Про любовь	6
Отец	8
Про смерть	14
Мама	18
Мамины истории	28
Брат	35
Инка	41
Свадьба	47
Расставание	52
Брат Алик	62
Аликина история	75
Меньшие братья	84
Похороны	93
Конец ознакомительного фрагмента.	97

# Алена Кравцова

## Сны на горе

© Кравцова А., 2019

© Перхов Ф., 2019

© «Геликон Плюс», 2019

\* \* \*

*Иногда осенние шторма выбрасывают на песок больших серебряных рыб, побитых о камни.*

*Я возвращаю их волнам – там, в прохладных глубинах, мой брат.*

*Так мы передаем приветы друг другу.*

*Однажды брат решил свести счеты с жизнью – просто разделся на берегу ночью, вошел в море и поплыл по лунной дорожке.*

*Много лет мы не знали, что случилось с ним, – просто пропал из Дома творчества в Ялте. А не так давно друг, который был с ним в ту ночь и сначала не понял, а потом испугался и стал молчать, признался, как было дело.*

*Вот тогда я и выбрала эту гору. Хоть она не в Крыму, а в Болгарии, но море здесь то же – Черное.*

*Осень дарит мне посреди опустевших пляжей и рябых от ветра бассейнов у пустующих террас багряные закаты в*

*прозрачной тишине и мерный, как ход часов, безумолчный бой прохладных волн внизу.*

*И иногда осенние шторма выбрасывают на песок серебряных рыб.*

# Сны на горе. Третье измерение

## Про любовь

...итак, «бэсамэмуча»: я яростно влюблена в своего брата, брат – в Эллочку Бостон, а Эллочка – в другого брата, который явно тоже в кого-то был влюблен, и не факт, что не в эту злосчастную Эллочку, имя которой я запомнила на всю жизнь.

Когда мне было примерно четыре, как я сейчас прикидываю, года, и когда меня до основания потрясла бессмертная «бэсамэмуча», атмосфера в нашем доме была под завязку наэлектризована всеми видами подростковой влюбленности.

Эту пластинку у нас в доме крутили на патефоне с металлическими иглами с утра до ночи, а если родители уезжали – то и ночами. Кто-нибудь постоянно накручивал ручку патефона, и остальные сладко захлебывались нездешней тоской.

Летом патефон выносили на веранду, где стояли затянутые в полотняные чехлы кресла, одуряюще пахло цветами табака от маминых клумб и бродили зыбкие тени от оплетающего окна дикого винограда.

Осенью листья желтели, редели и осыпались, в саду падали яблоки, в прозрачном небе тянулись серебряные паутинки – патефон вносили обратно в «зал», как называлась в до-

ме общая комната.

«Бэсамэмуча» не кончалась.

Первым уехал учиться самый старший брат. Через год за ним последовал средний. Младший пока остался с безутешной Эллочкой Бостон, и «бэсамэмуча» продолжалась.

Но вот наступила осень, когда моему кудрявому брату тоже настало время покинуть дом. Все лето гремела «бэсамэмуча» – братья на вакансиях продолжали покорять Эллочку.

Но все было по-другому, потому что осенью предстояла разлука.

В день, когда вслед за старшими и младший брат стал паковать чемодан, я спряталась в спальне под огромной маминной кроватью с покрывалом до пола и там просидела вплоть до того момента, как хлопнула калитка. Домашние деликатно меня там не замечали.

Там я все поняла не только про любовь, но и про разбитое сердце.

# Отец

...я никогда не искала в мужчинах, с которыми сводила меня жизнь, схожести с отцом, как это почти всегда бывает. Девочки вырастают и ищут опоры и защиты, которая была у них в детстве, – ничего такого у меня не было. У меня был брат и «бэсамэмуча» – полная эфемерность.

И хотя мы с отцом прожили до моих шестнадцати лет под одной крышей, а с братом до семи – отца я помню, как смутные кадры из увиденного отрывками кино.

Вот самый яркий.

Золотое солнце сквозь листья – только деревья нереально высокие, потому что я маленькая и меня держит за руку мама. Я в белом полотняном пальтишке, мама тоже в белом пальто – «пыльник» это тогда называлось, – на высоченных каблуках, волосы у нее уложены в прическу и надо лбом поднимаются красивой волной.

Обе мы стоим во дворе школы, задрав головы, и смотрим сквозь золотые листья на крышу похожего на сарай школьного сортира – по крыше мечется взлохмаченный яростный мужчина и палит вверх из пистолета – это мой отец.

Крышу с четырех сторон лижет огонь, который – пока светло – совсем не выглядит страшным.

Внизу толпа парней – в перешитых гимнастерках, кителях, сапогах – гогочут и крутят отцу вверх кукиши. Это его

ученики – отец директор вечерней школы. Время – закат. Солнце как-то особенно пробивается лучами во двор. И мама рядом очень красивая в этом свете. Как и я, смотрит вверх – на солнце, а не на крышу сарая, где воюет отец.

Тут отец нас замечает:

– Уведи девочку, Ася! – кричит он матери. – Я сейчас эту сволоту перестреляю! Звони в милицию!

Мы идем в гулкий школьный коридор – звук маминых каблучков и запах маминых духов «Красная Москва» тут особенный, – и мама звонит из обшарпанного кабинета отца, где мне все знакомо – в особенности чучело совы на глобусе.

Из окна хорошо видно, как парни то приставляют лестницу – и отец пытается за нее ухватиться, то отнимают ее – и тогда он опять начинает палить из пистолета и сыпать проклятиями.

Пламя нестрашно лижет со всех сторон крышу.

В конце концов прибывает черный «воронок» милиции – отца снимают с крыши и увозят: за незаконное хранение трофейного оружия и стрельбу из него.

– Уведи девочку! – кричит он маме и тут же азартно поворачивается к радостным своим врагам.

– Ну, сволота-мерзавцы, завтра я вам устрою! Завтра вы у меня этот сортир языками будете вылизывать! Всех в тюрьму, всех сгною, под вышку всех!

Парни повизгивают от удовольствия и наблюдают, как крыша наконец рушится с треском в снопе искр.

Уже стемнело – и пламя теперь красивое.

Отца, всего в саже и с дыбом стоящими от копоти и ветра волосами, увозит воронок.

Вопреки реальному положению дел он выглядит победителем и кажется мне тоже красивым.

Красота для меня всегда много значила – я иногда думала, а что было бы, если бы отец выглядел, как сосед дядя Миша.

Мы с мамой какое-то время смотрим воронку вслед. Потом мама неубедительно произносит никому:

– Ну нельзя же так.

И мы уходим.

Идем сквозь строй парней в гимнастерках, как сквозь раздвинутые занавески.

Я чувствую, как все они смотрят нам вслед. Мы с мамой – «директорские», нам почет и уважение, как и отцу завтра, когда закончится буза. Он – начальник.

Сколько я помню, в нашем городишке, утопающем в садах и золотой от солнце пыли, отец постоянно был «в начальниках». В вечернюю школу его ссылали всякий раз, как он какому-то «мерзавцу», говорил «правду в глаза – мне бояться нечего!» Возвышали обратно до немислимых высот в РОНО каждый раз, когда наверху, уже совсем на недосягаемых высотах самого ОБЛОНО, менялось начальство. Новое начальство отца привечало, не подозревая, что поток правды изрыгнется против самого нового начальства – очень скоро и в

самый неподходящий момент. И тогда отца опять возвращали директором в вечернюю школу под радостный гогот гимнастерочников.

– Привет, сволота! – бодро приветствовал их отец.

Все эти слова – «роно», «облоно», «мерзавцы», «сволота» – стояли для меня примерно в одном ряду, потому что повторялись постоянно в разных вариациях. Разве что слово «облоно» представлялось где-то в облаках – туда отец карабкался с жалобами каждый раз, когда после двести пятидесятого или трехсотого раза не удавалась очередная замышленная им революция в пыльном городишке или отдельно взятой школе. «Роно» же ассоциировалась с розовым мороженым, которое отец покупал, когда брал меня с собой на очередную разборку в это учреждение.

Как правило, я сидела на стуле в кабинете того начальника, которого отец почитал в данный момент своим оппонентом, лизала сладкий стаканчик, капала на белое пальтишко и слушала непонятные речи, быстро переходящие в крики, из которых мне запоминалось только:

– Я б тебе сказал, если бы здесь девочки не было!

Время от времени отец хватал меня в охапку и выставлял минут на пять за дверь вместе с мороженым:

– Стой тут и никуда не уходи!

Потом так же стремительно водворял обратно на стул за столом, на другом краю которого прыгал от ударов кулаком по зеленому сукну пустой графин. Возвращались мы домой

оба уставшие, но довольные.

Мама поднимала голову от своих грядок с цветами. Каждый раз по-новому красивая. Смотрела на нас, качала головой: «Ну нельзя же так», – и шла стирать мое пальтишко.

– Все мерзавцы и сволота! – удовлетворенно возвещал отец через забор слесарю дяде Мише, надевал старый-престарый, весь перепачканный краской и штукатуркой рабочий костюм, такой же берет и шел к этому самому дяде Мише за советом.

Совет требовался по поводу того или другого столярничанья-слесарничанья, которыми отец не только никогда не занимался, но даже не знал, с какой стороны держать инструмент. И тем не менее у него была в сарайчике «мастерская» с набором разного железа и дерева, которые он не знал, куда приложить и как к ним подойти.

Особую сладость отец переживал от того, что дядя Миша – трудяга и мастер на все руки – каждый раз мукой-мученической страдал от пустых его вопросов, но не смел уклониться от разговора. Тихий и незлобивый, с черными руками, он покорно, как овца, шел за отцом в сарайчик, и там начиналась одна из тех бессмысленных бесед – «а вот скажи ты мне, рабочий класс», – после которых дядя Миша запиывал на неделю.

Его жена – необхватная бухгалтерша тетя Маруся, кривая на один глаз и говорившая так быстро, будто крупа сыпалась

у нее изо рта, – приходила и на все лады распекала отца, потому что пьяный дядя Миша не мог обслуживать слесарные нужды нашего угла, а значит, в семье не сходился дебет с кредитом.

После запоя виноватый, и так всегда тихий, а тут уж вовсе неслышный дядя Миша обреченно шарахался от забора, когда туда совался отец. Тот только посмеивался.

Нападения же на дядю Мишу совершались стремительно и коварно, так что он и опоминаться не успевал, как уже мучился перед отцом на неудобном топчанчике в сараюшке-мастерской. И черные его руки тоже мучились над какой-нибудь никому не нужной и никчемной работой, которую делать классному мастеру было не вмоготу, а еще больше не вмоготу было слушать: «А вот ты мне скажи, рабочий класс».

Насколько не вмоготу все это было дяде Мише, все мы поняли, когда однажды без всякого объявления войны он заявился к нам во двор с ружьем и поставил отца к стенке, пояснив:

– Сил у меня больше нет, Григорьич, терпеть.

Отец тут же обмочился, а дядя Миша – абсолютно трезвый, с лютыми глазами – шумно подышал перед ним и пальнул в нашу собаку, уложив ее тут же на месте.

Года два после этого между ними не было никаких контактов, и я уже пошла в третий класс, когда дядя Миша опять оказался на топчанчике перед отцом в заляпанном краской берете с неизменным: «А вот ты мне скажи, рабочий класс».

# Про смерть

...я долго горевала тогда по той убитой дядей Мишей собаке.

Как-то со зверьем, которому я была самозабвенно предана, в нашем углу – зеленом тупичке, где стояли в основном дома городского начальства, – не ладилось.

Самое мое жгучее воспоминание: мы играем со щенком, а наш сосед, герой войны на протезе, из-за которого мы все, дети, его боялись до икоты, выхватывает у нас теплое тельце и, размахнувшись, бьет об забор так, что мозги разлетаются к нам в песочницу, – чтоб не лаял.

Я прибежала тогда домой, размазывая это теплое красное по лицу, и на все расспросы перепуганной мамы только мычала. Я мычала тогда несколько недель – язык буквально не поворачивался во рту.

В другой раз, когда занемог Черныш – приبلуда, взявший на себя охрану нашего сарая, – мне удалось вымолить отца привести ему «доктора». Тогда это была редкость, после войны не до домашних любимцев: если что случится, умирали, как придется.

Пришел высокий худой дядька в черном плаще – а стояло ясное лето. У него были такие длинные пальцы, что казались похожими на связку крюков. У меня засосало под ложечкой.

Я толкалась в соседней комнате, когда отец провожал его

из столовой, где они, как водится, приложились к графинчику.

– Ты его ко мне принеси. Я все сделаю, – говорил дядька.

– Нет, я сам, ломиком, сколько там дела, – ответил ему отец.

От этих слов в одну секунду в моей голове сложилась картина.

В таких подробностях, что мной буквально выстрелило к ним.

– Нет, нет, нет!!!

Я хватала их за руки, укусила черного дядьку за палец, поцарапала отцу, который меня уносил, лицо.

– Нет! Нет! Нет!

– Забери девочку, ее лечить надо, – кричал отец маме.

Все следующие дни я сидела над Чернышом и сторожила его.

Однажды я проспала.

В саду стояло солнце и просвечивало сквозь листья, как будто это праздник Первомая и колышутся ленты на флагах.

Черныша на подстилке не было.

На ватных ногах я дошла до столовой, где все уже завтракали.

– Где Черныш?

– Убери ее, опять начинается, – крикнул отец маме через стол.

Я так рыдала, что не успевала набирать воздуха.

– Пойдем, мы с тобой его поищем, – встал из-за стола сердобольный старший брат Алик.

От его виноватого голоса я еще больше поняла, что Черныша уже нет.

Я кричала и отбивалась от всех, пока передо мной не оказалось лицо младшего брата.

Его зеленые глаза были черными.

Он приблизил эти глаза, потряс меня за плечо и рявкнул:

– Перестань реветь. Посмотри на себя, – подsunул мне зеркало.

На меня глянул кто-то с разинутым ртом и красными глазами, с распухшим носом и растрепанными волосами.

– Черныш, – всхлипнула я в зеркало.

– Черныш умер! – опять рявкнул брат.

Лицо в зеркале еще больше перекошилось, и рот раскрылся для нового крика.

– Все умирают. И ты тоже, – глаза стали двумя дырами. – Ты тоже умрешь.

Рот в зеркале захлопнулся в ниточку.

Это было правильно – я тоже умру.

После такого умру.

И черный дядька с крюками.

И отец тоже.

Пусть все умрут. Если такое делают.

Тут мама погладила меня по голове своей маленькой теплой ладонью и поставила новую чашку, вместо разбитой.

Мама всегда примиряла меня с человечеством.

# Мама

...помню такую картинку про маму.

Ночью к нам полезли воры – в общем, вполне обычная по тем временам история, – и мама стала звать отца. Он спал наверху в кабинете, а я с мамой в спальне – мне это представлялось закономерным. И вот мама зовет отца, мы слышим, как выламывают раму окна, – а сверху полная тишина. Тогда моя мама поднимается в своей шелковой ночной сорочке, которую отец привез из Германии после войны как трофей, идет в «зал», где орудует за окном вор, и строго говорит свое неизменное: «Ну нельзя же так». И еще что-то вроде: «Сейчас же прекратите! Вы пугаете девочку!» – и стоит в своей кружевной сорочке, похожей на бальное платье.

Кстати, рассказывали, что после войны офицерские жены иногда появлялись на вечеринках в шикарных ночных сорочках – им просто в голову не приходило, что такую красоту можно носить дома, а тем паче спать в ней.

И вот стоит моя ослепительная мама, и тут рама окна наконец падает в комнату, и на фоне открывшегося так внезапно и потому ошеломительно красивого в лунном свете сада – жалкая согбенная фигурка вора. Он остолбенел и не может отвести от мамы глаз.

– Кыш, – машет на него мама, – пошел, кыш!

Он растворяется в ночи. Мы стоим и смотрим на залитый

луной сад.

– Красиво, – вздыхает мама.

Потом поправляет прическу и добавляет:

– Все цветы вытоптал, наверное, пойду посмотрю.

Я иду за ней. Потому что мне все равно все еще страшно.

В столовой мы видим, как по лестнице из кабинета спускается отец. Он в черных трусах и белых валенках на босу ногу, а в руках у него двустволка:

– Уведи девочку, я сейчас буду стрелять, запритесь в спальне.

Мама пожимает плечами и молча выходит в сад, откуда пахнет летом, цветами и ночью.

А отец потом долго скребется у дверей нашей спальни, которую мама запирает всегда изнутри. И я так и засыпаю под умоляющее: «Ася, открой» и спокойное: «Шура, ты разбудишь девочку».

А перед глазами у меня стоит ночной сад, как будто бы я побывала в другом мире.

После этого покушения мама завела сторожа – смесь болонки с терьером, – купленного за пятьдесят копеек на базаре. Сторож с гордым иностранным именем Блэк устраивал маму по всем параметрам: он быстро сообразил, что нужно ходить по дорожкам, а не по грядкам. А если только во двор кто-то проникал в надежде поживиться яблоками, если уж не ограбить, сторож тут же прыгал через открытое окно спальни вовнутрь и прятался под мамину кровать. И уже оттуда

начинал храбро лаять. И мама тут же отправлялась в сад наводить порядок – тот случай с жалким вором только убедил ее в том, что бояться нечего.

Она никогда ничего не боялась.

Помню, я училась уже в Москве, мама была совсем молодой, жила одна в нашем большом доме, окруженном старым садом. И вот я приезжаю ночью на такси из аэропорта, дверь не заперта, как это всегда у мамы принято, а из отцовского кабинета наверху – отец на то время уже умер – раздастся мощный храп.

– Кто это, мам? – спрашиваю я в изумлении.

– Тише, разбудишь. Сирота один. Приехал, никого не знает, денег нет, ночевать негде – я и пустила.

Сироту я все-таки разбудила и выставила – килограмм сто с наглой рожей и вороватыми заплывшими глазками.

Но факт остается фактом: никто и никогда не причинял маме зла. Доходило до того, что однажды, когда она потеряла в магазине сумочку с деньгами и ключами от дома, не успел дядя Миша поменять замок в двери, как принесли сумочку – не только с ключами, но и с деньгами. Причем маму это несколько не удивило, она поблагодарила, как всегда, немного рассеянно. Такое у нее всегда было лицо – будто бы она не здесь.

Однажды на базаре мы стояли в очереди за живыми курами – привозили огромные клетки и оттуда продавали. И вот хохлушка, которая торговала, взъерилась на маму за ее вид.

– Ну и какую птицу вы хотите, дамочка, я ваших мыслей не читаю. Вы мне покажите, какую вам выбрать?

Мама, не моргнув глазом и не переменив выражения лица, ткнула в самый низ:

– Вот эту, пестренькую.

Очередь заволновалась.

Потная и злая торговка заныряла на самое дно метровой высоты клетки, переполошила птиц, а мама так же рассеянно показывала:

– Нет, не эту, та перебежала в другой угол.

При этом у нее и в мыслях не было поглумиться над торговкой, как и в мыслях не было, что она таки поглумилась над ней. Она спокойно взяла курицу, и мы пошли восвояси, в то время как очередь разделилась на две партии: за нас и за торговку. Были еще и резонеры, которые качали головами: «Такая уж дамочка, что с ней поделаешь».

Думаю, если бы очередь узнала, что курица маме нужна, чтобы вынимать из грядок зловредных «медведок», которых, на мамин взгляд, в тот год развелось чрезмерно, резонеры бы победили, хоть и были в меньшинстве.

Такая уж она была. И тут ничего не поделаешь.

Я не видела свою маму молодой – только на одной старой фотографии. Там она полулежит на лугу в цветах, коротко стриженная, кудрявая и веселая, а рядом мужчина с гитарой и маленьким мальчиком на коленях. Это отец и с ним мой

самый старший брат.

Всего братьев трое и одна сестра. А потом уже появилась я. На фотографии, помеченной годом, когда я родилась – мама родила меня, когда ей было уже сорок четыре, – мама напряженно стоит на аллее санатория в Кисловодске с зажатой в руке лакированной сумочкой и печальными глазами.

Я не помню, чтобы мама целовала меня или обнимала, разве что в самых крайних случаях. Она приходила и уходила – очень красивая и недоступная, так мне казалось.

Когда ее не было, я доставала из огромного шкафа, который мама называла «гардероб», ее шелковые платья, туфли на высоких каблуках, вынимала из ящичков тонкие чулки – и примеряла на себя. В специальном отдельном мешочке хранилась серебристая лиса с хвостом – она пахла «Красной Москвой» и немного нафталином. Так же пахла мамина каракулевая шубка с муфтой.

Однажды зимой мама пришла, душистая и морозная, и достала из этой муфты серого котенка с мокрым розовым носом. Я лежала тогда с ангиной, у меня болело горло, и я горько расплакалась.

– Черт знает что, – говорил отец сердитым голосом, – девочка целыми днями одна.

– Я не брошу работу, это все, что у меня есть, – говорила мама красивым голосом, как в радиоспектакле, – единственным моем развлечении, когда я болела и радости маминого гардероба были для меня недоступны.

Мама была директором начальной школы. Школа располагалась за городом. Утром за мамой приезжала машина, чихающий «козлик». Вечером «козлик», надсадно выхлопывающий гарь, возвращал ее. Часто я уже спала или притворялась, что сплю, а сама тихонько плакала – боялась оставаться одна весь день до вечера, и было обидно, что мама этого не понимает, напевает тихонько и возится у шкафа, выбирает платье на завтра.

Как-то зимой погас свет, когда я осталась одна дома, и я жгла спички одну за другой до самого ее прихода, потому что боялась темноты. Мама пришла и рассердилась, что я сожгла весь запас спичек.

Весной и летом дела шли веселее – допоздна было светло, я увязывалась за всеми знакомыми, да и, пожалуй, незнакомыми взрослыми, которые проходили мимо нашего двора, и таскалась за ними по их делам. Городок у нас был маленький, семью нашу знали, отец был как-никак всегда в начальниках, так что худого мне бы никто не сделал.

Однажды, к своему неопишуемому ужасу, мама выглянула в окно класса и увидела на полянке перед школой меня в испачканном белом пальтишке.

Кто-то довел меня до окраины города и показал, как пройти через поле к маме.

В пригородную школу меня привели сердобольные тетки, которые отогнали гнавшихся за мной по выгону гусей и по

нехитром размышлении вычислили, кому на их крае может принадлежать городской ребенок.

Мама тогда едва ли не впервые меня обнимала и целовала – треугольная пуговица от ее костюма больно царапала мне щеку.

– Что я делаю, что я делаю, – приговаривала мама, – я плохая мать, я преступная мать.

Она плакала, и я плакала тоже.

Потом мама показала мне пасеку, на которой в ульях шуршали пчелы; она показала мне маленьких крольчат в крольчатнике и большую лошадь, которая брала мягкими губами сахар у меня с руки; она показала мне огород с ровными грядками и засеянное гречихой поле.

– Это все принадлежит нашей школе, – говорила мама гордо. – Мы лучшие в районе. На будущий год мы разведем еще птиц – у нас будут яйца. А если купим корову, то и молоко.

Мама еще долго водила меня и привычно показывала свои достижения – школа была образцово-показательной и сюда часто возили разных гостей и делегации.

Но тут я разревелась по-настоящему.

Что-то такое я поняла, как тогда, зимой, про котенка в муфте, вроде что чего-то изумительного и нежного у меня не будет и поэтому все в этой жизни зря, даже самое лучшее, особенно это самое лучшее – оно все равно не заменит.

Я стояла и плакала на солнечной поляне по колени в кле-

вере, над которым жужжали мамины пчелы.

Тут мама опять наклонилась ко мне, обняла и тоже стала плакать.

Больше на работу она не вышла.

Веселей мне от этого не стало.

Мама угрюмо бродила по дому, брезгливо разглядывала мои игрушки, которыми я, как могла, украшала столы и этажерки, создавая на свой лад уют в доме, запускала пальцы в густые вьющиеся волосы и бормотала: «Выпустите меня отсюда, выпустите меня отсюда».

Потом однажды я проснулась от маминого пения.

Прямо в своем белом, нарядном пальто – мама любила наряжаться сама и наряжать меня, когда руки доходили, – она наклонялась над свежевскопанными грядками и высаживала в них рассаду.

Закончились блуждания по дому. Началась новая эра.

Если я хотела видеть маму, шла во двор, где она рассеянно поднимала голову от грядок, отводила испачканной рукой от лица выбившиеся волосы, оставляя темные разводы на щеках, и рассеянно спрашивала:

– Ты есть хочешь? Ну иди-иди, там, на столе на кухне огурчик есть.

Я шла, брала огурчик, брала своего плюшевого мишку и садилась в комнате в уголок читать книжку.

А во дворе тем временем буйствовали цветы.

Благоухал жасмин, поднимались выше крыши дельфиниумы и мальвы, крымская ромашка кивала головами размером с блюдечко, над пестрыми гроздьями флоксов изнемогали-роились бабочки, а чайные розы своим ароматом доводили до полного изнеможения, так что прохожие останавливались и забывали, куда идут.

Наш двор в тупичке превратился в сплошные райские кущи, которые выплескивались на улицу, побеждая низкорослый заборчик.

Первое время мама не делала разбора, и садовые цветы мирно уживались рядом с полевыми, сортовые – с уличными. Первой целенаправленной страстью стали георгины – их мохнатые головы выстраивались теперь стройными рядами, и каждая имела свое имя: Грета Гарбо, Мария Магдалина, Вioлетта, Офелия – до сих пор они ассоциируются у меня прежде всего с цветками. Потом настал черед тюльпанов: махровые, зубчатые, с лепестками, свернутыми, как крылья птицы, раскрытыми, как чашечки водяных лилий, – всех цветов, оттенков и сочетаний, вплоть до черного бархата.

Но верх взяли гладиолусы – им мама отдалась вся. Никогда не видела я ничего подобного, и описанию мамины гладиолусы не подлежат.

Это был отдельный мир, выраженный живыми иероглифами четких соцветий, по поводу которых зеваки не имели никакой возможности высказаться – гладиолусы мама растила в глубине двора, показывала только знатокам, и каж-

дый цветок для нее был как отдельная раскрытая книга с бесконечно захватывающим и неповторяющимся сюжетом; как алгебраическое уравнение с непредсказуемым результатом; как стихотворение, написанное рукою Бога.

Это была страсть.

Увы, места в ней для меня, понятно, не было.

Правда, мама честно старалась держать меня в поле зрения, так что, когда не возилась во дворе с цветами – а это были глубокая осень и зима, – шила мне новые платья, пекла в духовке душистые яблоки или картошку и за нехитрыми домашними заботами рассказывала разные истории из своей жизни.

Все эти истории оказывались такими, что меня потом мучили ночами кошмары, и при этом мама так часто их повторяла, что я запоминала почти каждую наизусть вплоть до интонаций – на долгие-долгие годы.

## Мамины истории

...моя бабка, которую избил нагайкой белый офицер, тронулась умом, все стояла у дороги, пока однажды с ней не случилось то, что мне стало часто сниться, – мама так часто рассказывала мне об этом, что оно стало частью моей жизни.

...Я до сих пор вижу огненный шар солнца, который опускается в лес за полем. Вижу, как по дороге проходят люди в военных шинелях. Вижу золотую пыль, которая оседает на плечи гимнастеров и мундиров.

Сердце стучит тяжело. В крови жарко пульсирует красный шар.

Наконец я вижу его. У коня под ним бешеные глаза – коню хочется нестись по полю, чтоб ветер свистел в ушах. Я коня понимаю.

Рву хлыст из рук всадника, так что стаскиваю с седла, взлетаю в стремянах, хлещу хлыстом сначала бледное лицо, обращенное ко мне снизу – смотрю в белые от ярости глаза, – потом хлещу коня.

И с одинаковым восторгом мы летим по степи навстречу красному шару...

Позже беглянку нашли в степи мертвой. В руках у нее было решето, которое она сорвала с чьего-то забора, пока неслась на украденном коне по улице.

Говорят, видели, как она ловила в степи солнце решетом

и ее черные волосы развевались на ветру, застилая красный шар.

Кто его знает, что там было на самом деле.

Очень может быть, мой дед был скучным и мелким человеком, а заезжий офицер-красавец разбередил душу певуны, да и бросил – ускакал в сторону солнца. Возможно, она бежала за ним, хватала за стремяна – он оттолкнул, ударил.

Поговаривали, что не тот офицер, а муж побил ее так, что тронулась она после этого умом.

Хоть муж-мельник рядился в городскую одежду, а все ж был куплен для нее «паном», из дома которого ее выдали замуж, как в свое время ее мать, и ее бабушку, и всех старших из дочерей далеко вглубь рода. Мельник гордился женой, но и запил после женитьбы – ревновал. А когда грянула смута, первый побежал и пустил красного петуха в господскую усадьбу.

Слышали, что за то прокляла его жена. Может, потому и хотела с офицером сбежать, да не вышло.

Мою мать, как и оставшихся еще двоих детей погибшей беглянки, вырастила моя прабабка.

Она, хоть из того же господского дома вышла в замужнюю жизнь, была крепкой веры и большого смирения. Последние ее слова, когда умирала, были: «Анфиса, покрести детей». Соседки уже поднесли зеркальце к ее губам, и оно не затуманилось, уже завесили окно платком – и тут моя прабабка

открыла глаза и сказала: «Анфиса, покрести детей».

Но Анфиса, так звали мою мать, уже была учительница, она была комсомолка, и у нее был муж-коммунист.

А до того помогали моей прабабке растить оставшихся сирот две учительницы – приехали в деревню из города, «в народ». Анфиса была умненькой, застенчивой и хорошенькой. Как раз в таком образе представляли себе народ мечтательницы-дворянки, прибывшие облегчать его участь на местах.

Обнаружив, что у Анфисы под платьем не только нет, но и никогда не предполагалось белья, сестры облегчили ее участь и поделились своими запасами. Потом стали причесывать и наряжать Анфису, читать ей революционные книжки и рассказывать о счастливом будущем человечества. Анфиса благодарила, слушала, менялась на глазах и по воскресеньям, вместо того чтобы ходить в церковь, становиться на колени и молиться на образа, пела с девушками-революционерками: «Бог это значит богатый, Господь это есть господин, молодежь (с ударением на первое о) шлет им проклятье, сгиньте, святые, как один!»

Сначала сгнули сестры-учительницы – молодежь там или кто другой заживо сжег их в чистенькой, прибранной комнатке при школе, где висели по стенам фотографии господина на лошади и дамы в платье со шлейфом – они снисходительно и одобряюще улыбались с клочка карточки, чудом уцелевшей на краю пепелища.

Анфиса подобрала ее и всю жизнь с ней не расставалась,

старательно прятала потом в годы, когда за принадлежность к «бывшим» можно было жестоко поплатиться по простому доносу хоть бы и собственного мужа.

Впрочем, биография у Анфисы была самая что ни на есть рабоче-крестьянская, и, соответственно, все двери для нее были открыты после того, как Красная армия оказалась всех сильней, и она сделала свой выбор.

Как показала жизнь, выбор этот оказался роковым – всю жизнь она вспоминала свою первую любовь, которой пожертвовала ради того, чтобы быть полезной молодой республике.

Ее последняя встреча с зеленоглазым, как она сама, Ваней снится мне так же часто, как тот солнечный шар, что убил мою бабушку.

...Я несусь на крыльях по дороге с краю поля. Не остывший после дня воздух кажется плотным и рвется, как шелк, за спиной. Время от времени я останавливаюсь и счастливо прислушиваюсь – догоняет? Слышу, как из колосьев тяжело падают на землю зерна.

«Или это звезды с неба падают», – тоже падаю и смотрю на небо, по которому течет Млечный Путь. И по ударам своего сердца считаю шаги того, кто догоняет.

Вскакиваю, и хотя вся пылаю, его рука кажется еще горячей...

– И знаешь, – говорит мама мне, глядя перед собой прозрачными, как у птицы, зелеными глазами, – я вырвала ру-

ку. Он протянул свою руку за моей, далеко протянул и держал так крепко. А я вырвалась, побежала, и воздух рвался за спиной, как туго натянутый шелк, а казалось – это крылья.

Она уехала в город учиться «на учительницу» – высшего предназначения в жизни она не представляла. И вышла замуж за учителя-коммуниста.

Первый ребенок у Анфисы родился на Севере, куда она уехала за мужем – коммунист оказался при ближайшем рассмотрении из кулацкого подворья. И у Анфисы, которой сестры-учительницы когда-то в чистенькой комнатке читали с волнением про декабристок, верность мужу и высоким чувствам взяла верх над верностью новым идеалам.

Анфиса уехала за мужем и родила первенца в монашеской келье, где стояла одна огромная кровать да лавка – все, что полагалось для проживания директору школы, которая расположилась в бывшем скиту.

Пока длилось лето, Анфиса выходила с малышом в близлежащий лес – то есть за ворота школы.

Мальчишка родился крепеньким и таким красивым, что нанятая для ухода за ним старуха-нянька, глядя на него, крестилась, шептала и сплевывала через плечо: «Приберет Бог красавчика, ох, приберет к престолу». В конце концов по настоянию Анфисы няньку вернули обратно в таежную раскольническую глушь. Мальчика, понятное дело, не крестили, да и как бы рискнул на это пойти муж Анфисы, которого

все-таки не посадили, а только выслали, и теперь он бился, чтобы доказать свою преданность партии, – и потому ближе к зиме все больше пропадал по начальству в Тобольске, ближайшем центре с единственным в округе трактиром.

А Анфиса одинокими зимними ночами слушала вой ветра и шуршание по стенам, лавке и полу тараканов, полчища которых оказались и неисчислимыми, и неистребимыми. Кроватька ребенка, как и супружеское ложе, стояли ножками в банках с керосином – иначе не было спасу и от клопов.

Мама никогда не рассказывала, как и от чего умер мальчик. Она только все повторяла про эти баночки с керосином, в которых стояла ножками детская кровать.

Это случилось в отсутствие мужа, младенца и похоронили в отсутствие отца, так что когда он вернулся, то застал только раскрытые настежь на мороз двери, окна и заиндеветшую под шубами на кровати Анфису.

А на столе, на лавке, на полу – густым слоем вымерзшие от холода тараканы, которых отчего-то потом никто долго не убирал, и когда она металась ночами по келье, в волчьей шубе поверх ночной сорочки, и безостановочно повторяла: «Выпустите меня отсюда, выпустите меня отсюда, выпустите меня отсюда», – под ногами тошнотворно хрустело.

Позже мужа простили и вернули на Украину.

Есть еще одно фото из немногих, дошедших до меня, мама сделала его в начале войны, чтобы послать отцу на фронт: три бутуза выстроены лесенкой, в беленьких рубашечках,

вихрастый младшенький – мой будущий любимый брат.

Это точка в конце той жизни на Украине перед войной, о которой мама не вспоминала и ничего о ней не рассказывала. Наверное, это была даже по-своему счастливая жизнь. Но именно такая жизнь имеет свойство бесследно просачиваться сквозь пальцы, не оставляя зарубок на будущее.

Теперь, когда я с белыми, как снег, волосами сижу на горе и смотрю сны своей жизни, вплетенные в узор других снов, других жизней, я особенно убеждаюсь в этом.

Так что, думаю я, пастух, который приносит мне молоко и сыр на гору, наверное, проснется после своей неспешной жизни, как хорошо и крепко выспавшийся бутуз, которого не мучили кошмары.

# Брат

...мама мне рассказывала, что, когда принесли меня из роддома и развернули пакет, – брат остолбенел, будто бы его ударило громом.

При том, что от роду был мой брат драчуном, забиякой и разбойником, каких поискать, была у него с детства одна слабость – целлулоидная голышка с нарисованными голубыми глазами. Он увидел ее еще в довоенном магазине и ревом заставил мать купить, как ни стыдили его все вокруг: «Кукла для девочек». Шел, зареванный, домой и держал целлулоидную голышку за глаза – голубые нарисованные глаза, которые очень скоро стерлись от его пальцев.

Мама родила меня в глухую ночь прямо в парке на горе – не успела добежать до дверей роддома, который почему-то размещался в самом отдаленном, но красивом месте города, откуда днем открывался вид на поля, а ночью – на звездное небо.

Сам старый дом окружали вековые деревья, которые днем тихонько скрипели, а ночью стонали и жаловались, как привидения, так что даже влюбленные этот парк обходили стороной. Именно в нем я издала свой первый вздох.

На мамины крики выбежал персонал, нас забрали в дом и долго меня хлопали и даже хлестали – дышать я, после того

первого вдоха, не хотела.

Родилась я сразу с длинными светлыми волосами, что маму даже напугало:

– У меня уже есть девочка, – сказала она.

– Но парни у вас тоже есть, – раздражилась медсестра.

И тогда мама заплакала вместо меня, пока меня заставляли дышать.

Я часто бывала потом в этом парке – и каждый раз меня охватывало чувство непереносимого одиночества, будто бы меня здесь выбросили и забыли. И лохматые ворчливые деревья стояли такими же, какими я увидела их в ту ночь, – они не менялись.

А когда меня принесли из роддома и развернули пакет – брат остолбенел, будто бы его ударило громом, – рассказывала мама. И всегда качала при этом неодобрительно головой.

Стоит ли говорить, что живую голубоглазую малышку брат захватил в полное свое владение. И стоит ли говорить, что такое владение было не всегда безопасно для крохи.

Однажды мама вытащила меня, уже посиневшую от крика, из моей деревянной трофейной коляски – мальчишки устроили бега с колесом на кочерге наперегонки с иноземной игрушкой.

В другой раз брат потерял меня, пока ловил рыбу на речке, – и когда нашарил руками на дне и вытащил, я уже не дышала. Он никогда не слышал об искусственном дыхании, но

сделал именно то, что нужно, – прижался к моему рту своим и стал вдыхать в меня жизнь обратно.

Как-то ночью, когда мы возвращались по пустырям домой, он случайно выпустил мою руку, и я рухнула на дно ямы с водой. Брат несколько часов искал меня, потому что забыл, в каком месте потерял, и не знал про ту яму – там днем откопали бомбу и так и не вывезли. Видно, крепко пришлось потрудиться нашим ангелам-хранителям в ту ночь, потому что брат тоже свалился туда ко мне и несколько раз со мной в руках поскальзывался и падал обратно.

Но не только для меня была наша неразлучность трудной – а и для него не всегда удобной, чем старше он становился. Тогда он запирал меня в платяном шкафу, а сам уходил по своим делам. Для виду устраивал игру в прятки, я, наученная им же, несусь к шкафу – был у нас такой, карельской березы с огромными бронзовыми замками, – он меня там запирает и уходит. А потом возвращается и «находит» меня, зареванную или спящую.

Однажды он не смог меня разбудить. Когда пришли мама, отец, доктор, я, одуревшая от нафталина, продолжала спать мертвым сном. Потом брат признался, что искал на кухне нож – порезать вены, как герой в иностранном кино, – когда увидел меня, как ему показалось, мертвой.

Но, как ни туго мне приходилось, мы оставались неразлучны, как будто кто-то нас предназначил друг другу свыше. Когда я болела скарлатиной, то, до сих пор помню – ко

мне приходил в полуяви такой громадный-громадный мой брат и стоял возле постели, и я переставала бояться.

Потом мама рассказывала, что брат и правда, несмотря на запреты – он скарлатиной не болел и мог заразиться, – влезал ко мне через окно ночами и стоял надо мной до рассвета, пока я не засыпала в бреду.

Там, наверху, видно, намудрили, запутали следы, закодировали-зашифровали – а расшифровка не совпала потом с посланием. Вот мы и оказались братом и сестрой, которые любили друг друга, как сорок тысяч братьев любить не могут, – привет, Шекпир.

Хорошо, если бы дети не вырастали, так думаю я иногда. На фотографии я, зареванная, в мятом платице – его как раз по причине мятости мне не давали надеть, отсюда и слезы. Ровесница брата с довоенного фото – тоже белобрысого и тоже зареванного – не дали голышку взять на фото. Мы могли бы быть близнецами, зернышки в одной скорлупке.

Но что было делать с телами, которые вопреки нашей нераздельности свыше жили на земле каждое своей отдельной жизнью и каждое в своем времени?

Мне показали их в нашем саду старшие девчонки – «пачку», как тогда говорили. И я до сих пор помню, как пахла белая травка, которая росла там облачком, над ней вился и никак не мог сесть шмель, а еще в траве росли красные мел-

кие гвоздички и бились загорелые Люськины ноги. А с самой Люськой брат делал что-то отвратительно непонятное, от чего желудок мой противно покотился вниз живота и затрепыхался там.

Я убежала и спряталась на чердаке. Лежала на старом пыльном пальто там до темноты и надеялась, что сердце мое разорвется на части.

Крутила на старом пальто облупленную пуговицу, которая никак не хотела отрываться, а когда услышала, что брат поднимается ко мне по лестнице, то готова была убить его, себя.

Он, кажется, обо всем догадался, или девчонки ему рассказали. Молча присел рядом, достал папироску – отцовскую по запаху – и долго дышал в темноте огоньком.

Я боялась шевельнуться, хотя меня раздирали демоны.

– Знаешь, она не первая, – сказал он мне вдруг, и я мгновенно поняла, почему он это сказал, что значит не первая.

– Я тоже хочу, – сказала я пересохшим голосом.

– Вот об этом и думать не смей! – погрозил он мне в темноте огоньком.

И я опять сразу все поняла, почему не думать и что никогда, никогда мне нельзя и подумать об этом.

И я стала стучать кулаками по пыльному воротнику пальто под собой.

Мы сидели в темноте на чердаке, сквозь раздвинутые доски были видны звезды и клочья неба, которые прикрывали

иногда звезды облаками. Пахло душистым табаком – это мама во дворе поливала свой цветник. А казалось, все это уже кончилось навсегда: мама, запах мокрой земли, звезды.

Я колотила и колотила кулаками в темноте по меховому воротнику, пока не подняла такую пыль, что мы оба расчихались.

Первым не выдержал и рассмеялся брат. Я оскорбилась, но, чихнув особенно громко, и сама не выдержала.

Так мы сидели и смеялись в темноте, пока я изо всей силы вдруг не стукнула его кулаком по губам. Я почувствовала, какие горячие у него губы под моим кулаком, и я стукнула еще и еще раз, пока не брызнула кровь, пока он не поймал мою руку и не сказал охрипшим голосом:

– Ты что, сдурела?

– Будешь знать, – сказала я и стала спускаться по лестнице вниз.

# Инка

...мне часто снится сон про то, как в пустом коридоре коммунальной квартиры звонит телефон.

Я знаю этот телефон – старый, черный, висит по старинке на стенке, оклеенной бордовыми с золотом обоями.

Я жила когда-то в той ленинградской квартире, но тот, кто звонит, об этом знать не может – его не стало задолго до того, как я поселилась там. Во сне я снимаю трубку и слышу голос:

– Инка?

Так звали меня сто лет назад. И мне странно было слышать это имя сейчас, когда волосы у меня белые, как снег.

– Инка?

И больше ничего.

Это голос мальчика, которого звали Боб, его убили те самые сто лет назад по ошибке, просто потому, что он бежал по платформе – выскочил на пару минут из поезда дальнего следования купить свежую газету, и его спутали с кем-то, которого догоняли.

Его отец, дипломатический работник в отставке, а точнее, провалившийся разведчик, сосланный в наш пыльный городишко, приучил сына, что утро должно начинаться с газеты.

Честно говоря, отец мне нравился гораздо больше. Он не был похож ни на кого в нашем городе. Сейчас я так понимаю, что я ему тоже нравилась, – голубоглазая длинноножка, ко-

торая не любила его сына.

В первый раз мы пересеклись с Бобом, когда я была в третьем классе.

Я ходила в музыкальную школу – в белом летнем пальтишке с огромной папкой для нот, – и каждый раз в конце заводской улицы меня ждали мальчишки, чтобы по-разному обидеть.

Брат не предпринимал ничего – когда я ему пожаловалась, он хладнокровно пожал плечами: «Ну так дай им сдачи». Я плохо себе представляла, как это сделать.

Как-то я ударила одного по щеке и пискнула: «О! Негодяй! Подлец!» – как в кино, в котором побывала до того один раз.

Брат взял меня на шпионские страсти, и там под зловещую музыку героиня в белой юбке красиво била по лицу злодея, а потом красиво умирала, опять-таки под музыку. Вкупе все произвело на меня такое сильное впечатление, что я начинала рыдать потом каждый раз, стоило мне услышать любую музыку, даже по радио.

И вот, удивляясь, как на самом деле трудно ударить другого, просто в буквальном смысле рука не поднимается, я все же, как героиня в той белой юбке, так-сяк сделала это – и тут же разрыдалась, к пороссячьей радости мучителей.

Теперь они еще издали начинали завывать: «О! Негодяй! Подлец! О!»

А однажды под эти завывания окружили и стали прутиками лозы задираТЬ мне пальтишко.

Мама, по каким-то своим представлениям, обшивала мои трусики кружевами по низу, нам обеим это очень нравилось, – и вот теперь свежесрезанные прутья уже до верха зазеленили мне ноги, и свора добиралась до кружев.

Жаль мне так стало этих исключительных кружев или что – у меня вдруг как граната в голове разорвалась.

Я изо всей силы стукнула, не разбирая, ближнего папкой по голове – ноты рассыпались и затрепыхались по асфальту, а я, которая всего больше почему-то боялась, что ноты когда-нибудь выпадут, почувствовала вдруг дикий восторг.

Вырвала прут из рук остолбеневшего от удара рыжего и стала хлестать его прямо по веснушчатой роже. А потом бросилась на остальных, повырывала у них скользкие ветки, сгребла в пучок и стала хлестать этим пучком налево и направо, стараясь свободной рукой еще приблизить к себе, кто попадался, чтобы алчно увидеть следы на щеках и шеях.

Да, это было «упоеание в бою», уж точно.

Мальчишки побежали, кажется, даже с ревом.

А я собрала ноты, завязала папку и пошла своей дорогой, как самурай.

Больше я тех мальчишек на углу не встречала.

Но вот через какое-то время я заметила, что каждый раз от музыкальной школы до дому за мной идет высокий светловолосый мальчик, по виду старше меня. Сначала я не об-

ращала внимания – я совсем перестала бояться после того случая. Потом стала невольно оглядываться – он шел за несколько шагов, не меняя расстояние между нами.

День, два, три, неделю.

Я задумалась – вот так просто наброситься на него и прочить? Что-то мне не позволяло такого сделать. Я стала нарочно замедлять шаги. Он тоже. Я стала почти бежать – он тоже.

И вот в один день я прислонила аккуратно папку к первому встречному столбу и повернулась лицом к преследователю – как новоявленный самурай я просто не видела другого выхода, хотя плохо представляла, с чего начну.

А он не остановился и не сделал вид, что рассматривает провода или забор, как бывало, – а продолжал двигаться по солнечной стороне прямо ко мне, пока не подошел совсем близко, так что я уже готова была толкнуть его в грудь.

– Давай дружить, – неожиданно сказал он.

Это было, как если бы он ударил меня в лоб. Я опешила.

А он смиренно стоял передо мной, и я рассматривала его умоляющие глаза и уже облупившийся от раннего весеннего солнца нос.

– У меня есть брат, – ответила я наконец надменно.

– Давай и я буду, – сказал он.

– Ты, ты просто дурак! – выкрикнула я и побежала.

Он догнал меня и протянул забытую папку.

– Дурак! – выкрикнула я еще раз уже со слезами, а когда

прибежала домой, то долго почему-то плакала и никому об этом не рассказала.

А потом на городском межшкольном балу в восьмом классе он опять подошел ко мне, и я его сразу узнала, хоть все эти немыслимо долгие для детства годы мы жили как будто на разных планетах, ни разу не встретившись, – он учился в другой школе на другом краю города.

Мы встретились, и я перестала быть одиноким самураем в отсутствие брата, который учился в далекой столице.

Летом мы с Бобом плавали на лодках, бродили по днепровским кручам, кружились на карусели.

Зимой на той же карусели в морозном парке целовались на заснеженных лошадях, и Боб носил меня на руках по аллеям, где оставались наши следы.

Дома мама пекла для нас душистые яблоки, когда мы возвращались, сладко продрогшие.

Это Боб открыл для меня «Битлз» – он даже одевался, как Пол Маккартни, и создал музыкальный ансамбль в нашем городе, где был своего рода знаменитостью благодаря собственным талантам и принадлежности к семье разведчика, который жил среди нас, как король в изгнании.

Да, король мне нравился больше – на его лице никогда нельзя было прочесть ничего. Его короткое присутствие на городских праздниках, когда он приглашал меня на танец – по-военному статный, с жесткими глазами, – волновало меня и запоминалось намного больше, чем вереница ясных

дней с его сыном.

Эти легкие дни рассыпались бесследно, как оборванная нитка бус, как только Боб ушел по настоянию непреклонного отца в армию, а я уехала учиться в Москву.

Мой любимый брат к тому времени уже женился.

# Свадьба

...брат носился по жизни, как нестреноженный конь по полю, видимо, предчувствовал, что срок ему отмерен, – его бурные романы стали притчей во языцех всех наших родных и знакомых.

Девчонки даже нарочно ввали, что он спал и с той, и с другой, и с третьей – он стал чем-то вроде знака качества для жаждущих любовных успехов подружек.

Наверное, эти романы происходили круглый год и за пределами нашего утопающего в садах и золотой пыли города, но у меня с ними всегда связывалось раннее лето, когда гудят шмели, пахнет скошенным сеном, душистым табаком по вечерам и звезды проглядывают сквозь прорывы в облаках.

Мне было наплевать на невесту с затейливой прической, которая жалась на высоченных каблуках к его плечу и сдувала с пухлых губ воздушную вуаль, на которой оставались мазки помады. «Черт с ней», – вот все, что я думала.

Но они должны были уехать в свадебное путешествие сразу после праздничного ужина – а это уже была разлука.

Вот о чем я думала так, что ногти до крови впивались в ладони.

Но брат тогда в первый раз в жизни по-настоящему напилсь, машины отправили без новобрачных, билеты пропали,

молодая жена жаловалась на веранде вежливой маме, которая рассеянно поправляла в многочисленных букетах цветы.

Я сидела в саду, смотрела на освещенную веранду, на растрепанные букеты, которые от каждого маминого касания как бы расцветали заново, и грызла горькую ветку, сплевывая кору на дорожку.

Потом уснула, будто упала в прорубь, как только мама отправила меня в мою комнату и велела погасить свет.

Проснулась я от того, что надо мной наклонился брат, делая непонятные знаки.

На какое-то очень короткое сумасшедшее мгновение мне показалось, что он зовет меня к себе, чтобы сделать меня своей женой.

Наверное, на лице у меня это все обозначилось, потому что брат близко погрозил мне пальцем перед носом: «И думать об этом не смей!»

А потом поманил за собой, приложив палец к губам.

Я безропотно двинулась следом, то и дело натываясь в темноте на послесвадебный разгром и вскрикивая от острых углов.

Вышли на веранду, где стояли похожие на присевшие привидения кресла в белых летних чехлах, и спустились по ступенькам на мокрую от росы дорожку с сонно похрустывающим гравием.

Брат выкатил из сарая старый велосипед, посадил меня за калиткой на раму, и мы покатали в темноте, так что я видела

только круг от велосипедного фонарика на дороге да на руле загорелые руки брата с подвернутыми белыми манжетами.

Когда мы свернули с проселочной дороги и въехали под ветки, покатали прямо по лесу, я подумала, что брат все еще пьян, и даже немного испугалась, но тут же подумала вроде: «Чем хуже – тем лучше».

Нас обдавало брызгами с веток, и мне щекотно стало капать с его волос на шею.

Потом мы внезапно остановились. Я спрыгнула с рамы и не знала, что же будет дальше.

Мы стояли и дышали в полной темноте.

Потом брат повернул меня за плечи и сказал:

– А теперь смотри.

За лесом полыхал пожар. Оранжевое пламя белкой несло по деревьям, потом взметнулось, полыхнуло в черном, густом, как чернила, небе.

Огромная, круглая, невозможно яркая луна побежала над верхушками деревьев.

Такого я не видела никогда и громко закричала. Брат закричал тоже.

А потом мы оседлали велосипед и понеслись, то теряя, то наталкиваясь на нестерпимо яркий диск в черноте, пока не выбрались на пригорок, откуда луна уже тихо и величаво вливалась в простор над рекой.

Мокрые и исхлестанные ветками до рубцов, мы сидели там, чувствуя полное опустошение и почему-то стыдясь один

другого.

О моем замужестве брат узнал постфактум – не знаю, почему я так сделала. Вернее, знаю – в этом и было главное, чтобы он узнал после всех.

Сразу же прилетел, не спал ночь в аэропорту, небритый, вломился утром:

– Вот, я подарок привез, – бросает на пол огромную шляпу-сомбреро, такие почему-то тогда считались высшим шиком.

Из-под шляпы выползает совсем маленький щенок, а лапы большущие, головатый, и сразу лужу сделал.

Мама поднимает брови. Я суечусь страшно, потому что вижу, как брат смотрит на моего мужа. А муж такой – рубашка в мелкую полоску, подбородок выскоблен до синевы, вроде президента американского, если бы тот был клерком.

Я суечусь возле собаки, мама отчитывает брата, муж поправляет запонку, а в это время, как простенько написано у Чехова, вдребезги разбивается все.

Вечером на следующий день пошли втроем в ресторанчик местный. Не клеится. Сидим. Брат говорит:

– А что там ежи? Кажется, дождь начинается.

Муж вскочил, будто его на дуэль через платок вызвали.

А брат усмехается, будто и вызвал, да лень ему пистолет из кармана вытаскивать.

Поправил мужу воротничок в полоску голубую, и вышли

мы под дождь.

У нас и правда вылупились в саду ежата. Это мама так говорила: «И откуда взялись, как из яблок вылупились».

Идем, дышит каждый, будто гору тащит. Пришли.

Плавают ежи животами вверх в ящике, а ящик полон воды – дождь в ливень перешел, а мы и не заметили по дороге.

Притащили ежей в дом. Не разворачиваются и не шевелятся. Завернули в мамину кофту шерстяную. Муж молчит, пристыженный. Брат забрал узел с ежами под мышку и спать сердито отправился.

Я вышла, сижу на веранде – жить не хочется. Всех жалко.

Ночью проснулась. Слышу: «топ-топ» над головой. Это ежи ожили, разбрелись по комнате. Заглянула к брату – обратно в кофту ежей собирает, на меня не смотрит.

И такая на меня печаль опустилась – будто открылось, что мой кудрявый брат скоро оставит меня в этой жизни одну.

# Расставание

...когда брат ушел по лунной дорожке, я вернулась в наш дом и несколько месяцев жила в его комнате.

Там остались большие часы, которые хрипели и задыхались вместо тиканья, сколько я их помню, но почему-то нравились брату, и он никому не давал их выбросить.

И вот они были – а его не было.

Тогда в первый раз меня поразило, что неживые вещи переживают живых людей.

Я все время думала об этом, чтобы не думать о брате. Не произнести его имени.

И, как о чужом, составляла и рассылала по инстанциям описания – поскольку брат числился «пропавшим при невыясненных обстоятельствах».

Я описывала его родинки – возле ключицы; цвет глаз – зеленый; цвет волос – темные, курчавые; как он одевался – всегда белая рубашка. И никчемность всех этих перечислений меня обессиливала, как будто бы я хватала пустоту.

Но не рассказывать же в этих канцелярских опросниках – про море, про крики чаек, как они пролетали над нашими головами так низко, что виден был белый нежный пушок на брюшках. Как брат вложил мне в холодную после купанья руку горячий камешек на берегу и спросил:

– Что ты чувствуешь?

– Тепло, – ответила я сонно, мы загорали.

– Вот и запомни.

Господи, как я запомнила.

Однажды в шторм, когда взлетали предупредительные красные флажки и пляжники жались к стенке, похожие на нерасторопных пингвинов, мой брат встал перед волной во весь рост, красиво нырнул под нее, и долго потом его голова мелькала среди пенных гребней, на которые даже не могли спустить спасательную шлюпку.

Спасатели матерились и бегали по волнорезу, пляжники кричали бесполезные советы от стены – все покрывал грохот моря, – а я стояла по щиколотку в пене и только старалась не потерять глазами точку, которая была моими братом.

И волны мне его вернули – как тех серебряных рыб много лет спустя, – побитого о камни и волнорез, совершенно голого и почти бездыханного.

Я сама схватила его руками, а уже потом налетели спасатели и другие.

Вопреки мрачным предсказаниям отца, который предрекал брату голодное существование за его «патологическое разгильдяйство», брат никогда не знал нужды и не давал мне ее знать.

Он никогда не «трудился» – он сотворял работу, как и

свою жизнь, играючи.

Он был художником, и случалось, неделями не выходил из мастерской. Но в этом не было зубовного скрежета мук творчества – одно сплошное удовольствие и баловство, если поглядеть со стороны. И хотя пот таки заливал ему глаза, он всегда смеялся за работой, и получалось, что и это просто дуракаваляние – себе в радость.

Он был художником-керамиком и ничего лучше для себя придумать не мог. Из земли, воздуха и огня, как Бог вроде, он лепил разных фантастических зверей и не менее фантастические предметы. Придумывал он их на ходу, случалось, в кабачке на салфетке царапал что-то быстро, иногда даже на своих всегда белоснежных манжетах. Больше всего он любил делать львов и пивные кружки – жил он тогда во Львове, где это все приходилось очень кстати. Львы у него все были добродушными и веселыми.

Однажды в печи – это было как раз перед выставкой его работ в Монреале – одного льва от высоких температур разорвало на части. Недолго думая, брат склеил зверя клеем БФ2, а чтобы не видно было швов, тут же настриг из пестрого ковра шерсти и облепил ею по клею весь зад царственному зверю. Так тот и отправился в Монреаль, где был особо отмечен критиками, как плод применения в керамике новых технологий и смешения несовместных материалов.

Иногда Ан, баловства ради, в какой-нибудь сырой кувшин перед обжигом совал стеклянную только что опорожненную

рюмку, она плавилась в огне причудливо, кувшин становился ни на что не похожим, сверкал боками, переливался цветами, и опять писали о новых технологиях.

Те работы, которые предназначались для прикладного применения, вроде пивных кружек, были по-дедовски добротными и так ложились в руку, что пиво само текло в рот – знаменитое по тем временам львовское. Брат и жил тогда во Львове, бывшем чем-то вроде европейской Прибалтики для Украины. В этом стильном городе с блестящей от частых дождей брусчаткой, по-европейски увитыми цветами особнячками, с обилием ресторанчиков в красных скатертях и свечами под абажурами брат очень приходился ко двору своим аскетичным щегольством и непреходящими чудачествами.

Машка, та самая его жена, очень любила фланировать у Высокого замка на высоченных шпильках, втягивая по тогдашней моде щеки так, чтобы быть похожей на Брижит Бардо. брат каждый раз, как мог, разнообразил эти прогулки. Любимым его трюком было залезть в своем суперфирменном костюме цвета мокрого асфальта с чуть проглядывающей полоской – из комиссии – на первое попавшееся на бульваре дерево и притворяться, что боится с него слезть. Пухлая жена Машка топталась на своих каблуках вниз и старалась делать вид, что ничего не происходит. Прохожие, напротив, потихоньку начинали останавливаться и давать брату разные советы. Машка в слезах с многотрудной «бабеттой» на голове уходила домой, а брат, как ни в чем не

бывало спускался и шел в первый попавшийся трактирчик с пивом, где наслаждался пенным напитком из им же сотворенных кружек, дно у которых было так глубоко, что возвращался он к Машке уже к ночи, а иногда и вообще забывал вернуться. Его знал весь город, и везде у него были друзья, да и подружки, что уж греха таить.

Но после того самого Монреаля, где пестрозадый лев произвел такой фурор, в столичной газете вышла разгромная статья. Один из прогремевших на выставке наборов для «горивки» в заграничной прессе назвали «Набор для виски», чем и поставили крест на карьере брата: «Дожились украинцы до набора для виски – поклонились чужеземный зарази», – было написано в столичном листке.

Брата отправили далеко в Карпаты на какую-то заштатную фабричку горшков, где он очень быстро стал всеобщим любимцем и еще в большем масштабе лепил своих диковинных «злыдней», мавок и лесовиков, так что слава про него от карпатских «полонын» докатывалась до Киева, который ничего тут не мог поделывать. На карьеру брату было наплевать, а делал он то, что хотел, и с большим удовольствием отпускал свои фантазии по свету, так что становился все более известным, и в конце концов его восстановили в Союзе художников, который брат ценил за то только, что получал регулярно путевки в Дом творчества в Ялту. А уж там он знал, как использовать эту несомненную привилегию, и продолжал валять дурака и обрастать легендами среди бра-

тьев-художников и местного люда.

Стоит ли говорить, что я была его верным оруженосцем на этой Богом поцелованной земле, окруженной горами и осененной криками чаек, плач которых только добавлял соли к радостям жизни – все проходит, так пусть уж проходит так, чтоб не в трудах своих Бог расслабился и улыбнулся.

Помню, как-то в Гурзуфе, который мы предпочитали Ялте за его кривые татарские улочки и лесенки в небо, пока я покупала персики у усатой татарки на углу, его стремительно забрали в милицию и продержали там трое суток, пока я не выкупила. Что он сделал, не могла пояснить ни милиция, ни он сам: «Нарушал» – одним словом. После этого наша хозяйка, тоже усатая, отказала ему от квартиры и он снял себе мансарду напротив того отделения милиции, где его держали.

И вот каждое утро, пока я звала его под балконом – на яростном солнце, от которого дорога казалась белой, – чтобы он проснулся и шел со мной завтракать, на мой крик, как черт из табакерки, выскакивал милиционер из двери отделения.

А уже потом появлялась кудрявая голова над перилами.

Брат сладко потягивался, зевал и всячески демонстрировал, какая у него, у нарушителя, прекрасная тут жизнь, и пока милиционер злобствовал и не мог отвести глаз, брат внезапно четко отдавал ему честь. Каждый раз так неожиданно,

что заставлял врасплох. И милиционер механически козырял в ответ – и тут же плевал в сердцах и хлопал дверью: так мастерски козырял бездельник, будто родился военным, – не захочешь, козырнешь подлецу.

Все, что ни делал брат, у него получалось, будто он просто родился с этим знанием, и все тут.

В свое время в институте он умудрился дойти до уровня республиканских соревнований, на которых наконец стало ясно, что теннису его никто и никогда не обучал.

Помню, в деревне он – в первый раз в жизни – так взлетел на коня, что голоногие мальчишки даже засвистали, а потом стал сигать через заборы, бабы только горшки успевали с них схватывать.

В тире он предлагал стрелять с завязанными глазами по мишеням, но ни один хозяин, слава богу, не соглашался.

А как-то в лесу, когда нас накрыл дождь, нашел во мху единственную оброненную кем-то сухую спичку и чиркнул о свой пустой коробок – не только разжег костерок, но и не без шика раскурил подмокшую сигаретку, выпуская дым кудрявыми колечками, будто передавал наверх, сквозь нестерпимо зеленую листву, личное свое послание.

Ясно было, что предел такой победительности поставлен будет.

Я понимала это лучше других.

И буквально кидалась на нож за брата – у меня до сих пор шрам на ладони: схватила как-то голой рукой лезвие в

ночной разборке.

Ох и досталось же мне от него тогда!

– Никогда не смей становиться между мужчинами! И никогда не смей становиться между мной и моей...

Он тогда не договорил. Грозное слово «судьба» для него было слишком громким, пресное «проблема» было не из его лексикона.

В общем, была у него неназываемая она, которую он предчувствовал.

Вопрос был, в каком обличье неназываемая предстанет и обозначит предел.

...И вот много лет спустя, на горе, где полыхают африканские закаты, будто не болгарская деревушка подо мной, а саванна с длинношеими жирафами, я, дойдя до этого места, в который раз не перестаю удивляться тому, какие капканы нам ставит жизнь.

Совершенно неожиданно для всех – и для себя самого, я думаю, в первую очередь – брат смертельно, именно то слово, полюбил голубоглазого мальчика, которого родила его жена спустя многие годы во всех смыслах бесплодной их совместной жизни.

При этом, когда она ходила беременной, брат не проявлял никакой заинтересованности и даже брезгливо избегал ее, будто бы та носила в себе не дитя, а заразную болезнь.

Когда же на свет появился голубоглазый младенец – брат

скоропостижно потерял голову.

– У него десять пальчиков, – кричал он мне в другой город, – на двух ручках. И на двух ножках тоже десять – я проверял. Это мой сын. Я научу его плавать. И ездить на лошади. А еще мы построим дом на горе.

Брат ходил с ошарашенным и пристыженным видом. Такой, наверное, бывает у отступников, которым вдруг явилось чудо и повергло в прах всю их воинствующую безбожность. Да, больше всего было похоже на это – он воспринял младенца как божество, сошедшее лично к нему, чтобы лично его вознести на вершину неземного.

Стоит ли говорить, что он самолично купал, пеленал, кормил из бутылочек кряхтящий комочек. Предъявляя его каждому, желающему узреть чудо, как неопровержимый факт их совместной с сыном избранности.

Мой ветреный насмешник, забияка, ниспровергатель превратился в маниакального папашу-наседку.

Мы не отдалились с ним в это время – просто появилось ощущение, что он стал видеть меня как бы в перевернутый бинокль – я была так неизмеримо меньше открывшегося ему чуда, что перестала как бы быть реальностью.

Двадцать пальчиков божественного явления бросили ему пояс спасения – брат перестал быть изгоем, он упивался обыкновенным человеческим счастьем – жалким и величественным.

В его исступлении уже таилась беда, так мне казалось.

И она не преминула грянуть.

Нет, мальчик не умер.

Он просто оказался не его сыном.

О чем брату и сообщила жена, когда мальчишке исполнилось три года. Она показала ему отца ребенка. Сказала, что уходит к нему, и добавила, что только последний дурак мог не увидеть, что мальчик совсем на него, законного мужа, не похож, а похож на своего настоящего отца – актера областного театра. Мальчик был действительно до безобразия похож на него – героя-любовника и дамского угодника с подвитыми волосами.

Возможно, какие-то несформированные мысли о бессмертии, о продлении, о спасении осеняли в период божественного заблуждения брата. Иначе нелепый факт кровного неродства не должен был бы так его потрясти, смести и уничтожить.

Мы, женщины, не претендующие на бессмертие, можем перенести все.

Мужчины не могут.

Брат не смог.

Он выбрал лунную дорожку и прохладу темных глубин, откуда – раскаявшийся – шлет мне приветы, когда осень очищает берега от летнего угара.

# Брат Алик

...когда мое солнце зашло, его отражение как бы высветило других моих братьев и сестру, которых я обошла любовью, растворяясь в одном Ане – так я его всегда звала. Только первым слогом имени, чтобы отличить и в этом, и немало времени прошло, пока губы мои смогли опять складываться в это имя без слез.

Имена других моих братьев, которых всех звали не попростому – и мой значился Анатодем в честь бог знает почему Анатоля Курагина из «Войны и мира», – мы тоже сокращали.

Нашего старшего звали гордо Альберт, как было принято в провинциальных верхушках в те времена противоестественной дружбы с довоенной Германией – а отец неуклонно следил, чтобы из верхушки не выпасть ни по одному признаку, – звали Альбертом, а был он для всех Аликом.

У него были редкого цвета коричневые в желтую крапинку глаза, и в отличие от двух других братьев был он гладковолос, причем волосы такие мягкие, что ему приходилось спать в специальной сеточке, чтобы утром выйти из дома с волной надо лбом, как того требовала тогдашняя мода. Понятное дело, Ану эта волна давалась одним движением пятерни ото лба вверх. Алик же корпел над ней – в особенности в периоды «бэсамэмучи» и жестокой Элочки Бостон –

другой раз и по часу. При этом был он тихий и застенчивый, как девушка.

Любимое наше развлечение – детворы со всей улицы – было засесть под окнами веранды в винограде и, когда нам казалось, что Алик пытается поцеловать Эллочку, застучать в стекла и заулюлюкать. Думаю, насчет поцелуев мы явно преувеличивали – брат был таким стеснительным, что и глаз не смел поднять на красавицу. А при том, что постоянно ждал наших провокаций, – и вообще старался не шевелиться на краткосрочных свиданиях. Да это и не были свидания – Эллочка просто проводила в его обществе на веранде время в ожидании одного из двух других братьев. Кстати, как только появлялся на веранде младший брат, мы, малышня, как мышата, разбегались по саду – запросто можно было схлопотать «щелбан», а то и подзатыльник – с ним шутки были плохи. Алик же терпел все безропотно и даже раздавал нам конфеты – «подушечки», обваленные в какао, незабвенное и несравненное лакомство тех лет, – и был этот брат такой, что у него даже в мыслях не было нас подкупить этим – просто он был такой.

Теперь я понимаю, что Ан – сокращенное домашними от литературного имени Анатоль – любил старшего брата самозабвенно, как только может младший брат, – пока оба были живы, такая мысль мне, ослепленной своим солнцем, и в голову не приходила. Я вспоминаю теперь, что он в любое вре-

мя дня и ночи отказывался от меня, от Элочки, от тайного перекура самокруток в сарае с пацанами, если Алик виновато – он всегда говорил с виноватым видом – спрашивал, не хочет ли тот пойти с ним. Да хоть куда!

Чаще всего они ходили вдвоем на рыбалку. Однажды в жару, спрыгнув с лодки, чтобы охладиться, Алик попал в водоворот – были такие опасные места на нашей тихой речке Унаве с русалочьими заводьями и невинными кувшинками по берегам. Алик уже выбрался – он знал, нужно нырнуть до дна, оттолкнуться и вбок, – но Ан преданно кинулся с лодки на выручку, и тут уже его закрутило, а слушал он всегда брата вполуха, когда тот твердил про водовороты. Алик долго нырял за ним, пока и самого опять не затянуло. Все, что мог Алик, – выныривать из последних сил и держать голову брата над водой.

Их пустую лодку в это время снесло течением, и ее счастливо заметил лесник, который сообразил, что что-то не так, и нашел мальчишек уже полуживыми и захлебнувшимися. Причем беспамятный Алик так и не разжимал рук, которыми намертво вцепился в рубашку брата, и потом его сведенные судорогой пальцы несколько часов не могли разжать дюжие лесники.

Точно так же, вцепившись намертво, Алик уже однажды спас брата в далеком детстве во время войны.

Мама часто рассказывала об этих двух случаях после ги-

бели обоих – видимо, в бедной своей голове она таким образом возвращала те прошлые спасения, будто можно было распространить их и на эту, уже состоявшуюся гибель.

Дело было так. Пользуясь затишьем между боями – а жили они как эвакуированные в деревне, которая вопреки расчетам командования оказалась как раз на линии фронта, – она отправила мальчиков на реку за рыбой, основным их питанием.

Золота и даже просто дорогих вещей у мамы для обмена на еду у местных не было, да и те голодали из-за нашествия то немцев, то своих. Вот и рисковали при любой возможности добыть пропитание на реке.

С утра было тихо, мама подошла к окну в классе, рассказывала детям урок, и тут, как в страшном сне, увидела падающие на реку бомбы – прежде чем услышала звук самолета.

Не помня себя, выскочила из класса и понеслась по тропинке через поле к реке, по которой проводила сыновей, – ей казалось, она все еще видит спинки всех троих, у младшенького, как всегда, рукав надорван сзади.

Попрятавшиеся деревенские наблюдали из хат, как она неслась по полю, и говорили потом, что видели ангелов вокруг нее, летящей, – казалось, сами следы за ней взрываются столбами земли, а она добежала.

Двоих, Алика и младшего, вцепившихся друг в друга, уносило лицами вниз по вздыбившейся от бомб воде – только рубашечки пузырились и держали их на плаву. Средний

голосил на берегу, полужасыпанный землей.

Она, хоть никогда не умела плавать, чудом поймала, вытащила обоих сразу, выволокла на берег, свалила всех троих в кучу и легла на них крестом, подставляя взрывам свою спину.

Она, вспоминая эту историю, всегда добавляла, что никогда, никогда не чувствовала себя такой счастливой, а сыновей – такими защищенными.

И еще она вспоминала, что долго-долго не могла разжать пальцев Алика на рубашке брата – рукав так и пришлось оторвать.

Младший от контузии оглох, но быстро восстановился, а Алик, надолго потерявший речь, всю жизнь потом немного заикался. Что в сочетании с его виноватыми глазами, уж конечно, никак не добавляло ему шансов в глазах Элочки потом.

Деревенские же стали особенно почитать «учительшу» и даже как-то просили, чтобы она призвала дождя на высохшее развороченное артиллерией поле.

Но, хоть дождь таки пошел, это не помешало им, когда в село пришли немцы и стали требовать выдать им спрятанных двух коров, указать как на виновного на старшего «учительши».

И вот мама опять из того же злосчастливого окна того же класса видит, как Алика ведут по пыли под конвоем два немца, а он плетется со своим всегдашним виноватым видом, и

мама знает, что он и заговорить-то после контузии не сможет, даже если с него кожу сдерут.

Она рассказывала, что валялась в пыли и целовала сапоги конвойных, висла на них, не давала увести Алика в рощу, где расстреливали партизан или тех, кто партизаном показался.

Тут объявился полицай-староста и, чтобы выслужиться, стал с умным видом рассказывать немцам, что это вообще городские, не из села, и явно украли коров они.

При слове «корова» – видимо, единственном, которое нужно было знать конвойным, – они остановились и стали задумчиво переводить свои автоматы с Алика на старосту и обратно.

Мама в пыли не дышала.

Староста вытаращил глаза и стал многословно с поросычьими взвизгиваниями доказывать свою невиновность, со лба у него закапало от страха.

Немцы правильно поняли, что этот им как раз и расскажет все про коров. Оставили Алика прямо на дороге и повели несчастного иуду в рощу. Коров он выдал, но его все равно там расстреляли для острастки другим.

Мама пролежала в той пыли до захода – ноги отказывались повиноваться. Алик сидел рядом и все мычал ей про то, что он никогда бы не признался немцам, хоть, как и все в деревне, знал про тех коров. «Горе мое», – вот все, что и могла ему повторять от избытка чувств мама.

Алику вообще во время войны пришлось ту же других, потому что был он старшим и маминой опорой. Это его взяла с собой мама, когда пошел слух, что за три километра от села в лагерь привезли русских военнопленных и среди них мамин муж.

Мама с братом добрались до лагеря почти уже к ночи, ни слова не зная по-немецки, маме удалось убедить часовых, чтобы ей разрешили пройти между бараками, выкрикивая фамилию мужа.

И вот они шли в полутьме по узкому коридору, где с двух сторон к ним тянулись руки калечных наших солдат – пока могли двигаться, в плен не сдавались, – и мама выкрикивала: «Суршко, Суршко, Шура!» А эхо разносило: «ш... ш... ш...» и рокотало длинно: «PPPP...»

И самое страшное было, что молчали и наши, и немцы, которые шли следом за мамой в шаг. Все только присасывались к ней глазами – она надела единственное городское светлое платье, которое свято хранила для встречи с мужем.

Когда они с Аликом выбрались наконец из барака, то оба упали на горке, куда поднимались бегом и оглядываясь, будто за ними под осенней голубой луной гнались демоны, – и беззвучно заголосили. Отца они так и не нашли.

Это Алик как глава семьи – двенадцатилетний пацан – отбивал свой дом у соседей после войны, а потом тащил на себе обратно скудный скарб в чужой подвал, когда их выселили как «вредный элемент».

Вместо ушедших на войну мужчин местным приходили похоронки, одна мама ничего не получала. И по селу загудели, что муж-то ее – враг народа.

Тогда мама послала самому Сталину письмо с той доменной фотографией, где трое «горкой», с просьбой прислать похоронку на мужа – фотографию вернули вместе со скупым ответом, что муж ее жив и скоро вернется.

А пока не пришла бумага из Москвы, Алик, в отличие от братьев-несмысленшей, хорошо прочувствовал, что такое сын врага народа. Зато с каким торжеством швырял он потом в окно вещи уже успевшего въехать в их законный дом «начальства».

Правда, жалко было ему выбрасывать отличные хромовые сапоги – сам он и мама ходили в ту зиму «на досточках» – привязанных к обмотанным тряпками ступням деревяшках. А малышню вообще за порог не выпускали – лежали рядом под рваным одеялом, главным скарбом семьи.

Поэтому швырнул он эти сапоги в самое лицо начальнику с особым остервенением, так что собравшиеся вокруг соседи только ахнули, но мама держала в руках письмо «от самого Сталина» – стерпел начальник.

Когда прошли военные и послевоенные годы – как волны на воде улеглись, – мама отправила Алика учиться не куда-нибудь, а в горный институт – на геолога. Что уж ею двигало, тогда никто не знал – в их степном краю про геологов

и не слышали.

Тихий застенчивый Алик безропотно институт закончил, а семья перебралась в другие края, поближе к столице, где был институт брата и другие институты, куда каждую осень уезжали братья, и собирались дома только на каникулы.

Причем привозили с собой друзей, так что в доме было многолюдно и многоголосо. Включали патефон, устраивали танцы, лото, выезжали всей компанией на лодках. «Дети, – говорила мама, – поедем на природу, я задыхаюсь без воздуха», – это в нашем-то саду с цветами в рост человека и деревьями выше крыши!

Один Алик появлялся каждое лето после практики не с подружкой, а с огромным рюкзаком за спиной, набитым камнями, о которых он безуспешно пытался рассказывать непреклонной Эллочке, ее за эти годы покинуло большинство поклонников, включая и двух моих других братьев. Но не Алик.

Возможно, непреклонность Элочки в какой-то степени поспособствовала тому, что большую часть своей дальнейшей жизни Алик провел одиноким волком в лесах Якутии, в геологоразведке.

Тогда это значило идти партией в тайгу, а там партия делилась по три человека, а три человека – уже по одному – от рассвета до заката с рюкзаком за плечами и молотком за поясом прокладывали новые маршруты. И так годами, иногда даже без отпусков – искали месторождение алмазов. Гибли

там тогда молодые ребята со страшной силой – не только звери лесные, но и «братья лесные» в изобилии водились, была в те годы тайга прибежищем людей темных и отчаянных, готовых на все.

Держал как-то Алик под прицелом целые сутки барак уголовников – их присылали на работы, когда закладывали Мирный, алмазную столицу. Отчаянный народ прознал, что геологам зарплату привезли, и решил, пока парни люто гуляют, расправиться с ними, отнять деньги, провизию и оружие – ружья тогда геологам выдавали – и бежать в тайгу.

Алик – он не пил совсем, была у него такая особенность – один трезвым остался и держал дверь с озверевшей братвой под прицелом, пока друзья-товарищи не проспались и не повязали лихих людей – гуртом и с ружьями было не сложно справиться.

Случались и в безлюдной тайге у брата приключения – один раз привязался к нему на маршруте медведь и плелся за ним несколько километров. А брат знал, что его, нижняя, тропинка должна сойтись с верхней, по которой трусил медведь, как раз под горой, к которой и путь лежал, – дальше ходу не было. И вот он идет себе, постукивая молотком по породам, а медведь ровно на три шага сзади наверху порывивает. А дело зимой было, медведь спать должен, а этот – шатун, самый опасный зверь в это время в тайге. И тут уже гора близко, в которую тропочка упирается. Алик, несмотря на холод, мокрый уже весь – а, страшно-не страшно, девать-

ся некуда, – идет под конвоем медведя, молоточком постукивает.

И тут буквально под самой горой из-под молотка порода выпала, которую искали больше месяца, – хорошая порода, добрый знак, что не зря столько километров отмахала вся партия. Брат остановился, дрожащими от радости руками образец породы в сумку бросил. А медведь тоже стоит над ним, сопит. И тропочке конец – вот она, гора.

Брат заметил скалу, нависающую, как козырек от кепки над его тропкой, и из последних сил рванул туда. Стоит – не дышит. Тишина. Думал уже, медведь ушел восвояси, потерял его – умом большой этот зверь не очень силен. Не тут-то было – свисает вдруг почти над самым лицом огромная лапища со скалы, и камни сыплются – это медведь решил сверху его достать, рыкает от злости, как лев. А брат мучится-топчется: сожрет медведь – и драгоценный образец породы вместе с ним. Тогда он сумку с образцом забросил подальше, чтобы медведю не досталась, и стал ждать. А медведь из себя выходит наверху – чует дух, камни ворочает.

Сколько они так маялись оба, Алик сказать потом не мог. Когда его грузили в вертолет – искали все-таки, свезло, – ноги его так распухли от неподвижного стояния, что сапоги пришлось разрезать. А медведь, который со скалы от рева винтов свалился, таки прихватил с собой сумку с образцом, которая попала на пути.

Но Алик-то не дал себя увезти, пока метку на заветном

месте не поставили и новый образец не добыли. Когда ему благодарственную награду вручали, смеялись, что медведя-де с сумкой обошли наградой.

В другой раз брат столкнулся с хозяином тайги летом в малиннике – здоровущий, стоит на задних лапах, загреба-ет передними столько кустов, сколько может, громко чавкает, обсасывает сладкую малину. Оба остолбенели, и оба от неожиданности покатались с горы только что не клубком. Пару раз Алик чувствовал себя буквально в лапах медведя – но тот был тяжелее и падал стремительней, так что удалось как-то зацепиться за куст и переждать, пока топтыгин не исчез с глаз.

Шутили потом, что надо было с медведя сумку обратно потребовать, прежде чем с горы бедолагу спускать.

Услышали мы эти истории и еще разные другие, похожие, на похороны Алика. Здоровущие мужики, даже не скрываясь, плакали, обступив узкий гроб.

Выносили его из дома мамы, которая со своей высокой прической – волной надо лбом – и удивленным лицом стояла у гроба, как будто бы не понимала, что этот гладко причесанный с мягкой волной надо лбом ее сын и есть тот человек, про которого рассказывают героические истории эти бронзоволицыые люди.

Они как будто бы рассказывали про другого человека – и мама с надеждой заглядывала в гроб, как будто бы там мог

оказаться не ее тихий сын-неудачник, а этот замечательный другой человек – пусть его берет земля, а сын окажется рядом, не герой, с виноватой улыбкой, не герой, но – живой.

Ни одна жена – а их у него ко всеобщему удивлению было целых три – не стояла у гроба.

После Элочки Алик встречался исключительно с некрасивыми девушками, которые использовали его либо до первого стоящего поклонника, либо до второго мужа.

Он трижды оставлял женам построенные на геологоразведочный заработок кооперативные квартиры – большая роскошь по тем временам – и возвращался в тайгу с неизменным рюкзаком и молотком за поясом. Другого собственного имущества у него сроду не было.

Некрасивые же его жены были все на редкость лютыми и алчными. Так что, когда брат погиб и привезли его гроб к третьей жене, чтобы вынести его в последний путь по-людски из дома, она и на порог не пустила.

...Много лет спустя дочка этой третьей позвонила в дверь моей ленинградской квартиры. Я обомлела – на меня смотрели коричневые в крапинку глаза Алика. Но тут она зашевелилась, заговорила гавкающим материнным голосом, зашныряла, прицениваясь, глазами по обстановке – слава богу, пусть меня лучше положат в гроб чужие люди, чем такая родная кровь с алчным прищуром.

## Аликина история

...Ану о смерти брата мы не сообщали до похорон. Он был в тяжелой депрессии после истории с сыном.

Я часто думаю сейчас – тогда я думала только о том, каково брату, – а каково было тому мальчику, которого он прижимал к своему сердцу, рассказывал ему сказки и обещал золотые горы, – каково было крохе вдруг перестать чувствовать всю эту огромную любовь? Боже, спаси детей от мира взрослых.

Мальчика я этого так никогда и не видела. Зато видела брата – с почерневшим лицом и мертвыми глазами.

С таким же лицом он выслушал весть о гибели брата. Я специально полетела к нему, чтобы не из телеграммы, не из чужих уст – от меня узнал.

Он тут же стал кидать вещи в сумку.

– Тебе купим в дороге. Летим.

– Куда?

– В горы. Я должен был быть там с ним.

– Откуда ты знал, ты не мог.

– Мог – это для меня была поездка. Он хотел мне помочь. Я отказался. И вот теперь его нет.

Я похолодела. Все мы думали, что это была просто очередная насмешка судьбы – Алик, который прошел тайгу, уголовников, дикое зверье, а погиб в мирной командировке от

НИИ в предгорьях живописных тихих Карпат. А вот оно что.

Мы приземлились в Ивано-Франковске и на крошечном самолете, где вместе с нами была еще почему-то коза, добрались до Косова. Там нам сказали, что «артист» жил выше в горах на хуторе, там и погиб.

Мы не обратили внимание на «артист», здесь любой неместный – артист для всех.

На хуторе нас встретили даже торжественно. Отвели в деревянную расписанную избу без подворья – раскинувшаяся внизу долина и мягкие горбы гор на горизонте вместо ограды. Простор и снопы света до головокружения.

Вышел к нам во главе многочисленного семейства старый дед в расшитом жилете. Вынесли и расстелили на лавках «лыжники» – сваленные из разноцветной шерсти пестрые ковры – знак уважения и того, что разговор будет длинным.

Расселись по обе стороны деревянного выскобленного стола. В расшитых сорочках молодухи положили скатерть с красными петухами, вышитыми по краям, поставили «горивку», теплый хлеб и нехитрую закуску.

Все без малейших признаков суеты или желания угодить – готовились к важному.

Ан – он сидел как раз напротив деда – уперся подбородком в сцепленные ладони и, не мигая, смотрел на покрытые черными венами потрескавшиеся руки, которые не торопясь наливали в граненые стаканы мутноватую жидкость.

– Ну, будьмо! – провозгласил наконец дед, и все выпили,

включая молодух, на руках у одной из которых сосал кусочек ткани с завернутым сахаром ребенок.

Опять помолчали. Стали подтягиваться другие люди в расшитых сорочках и жилетах – видимо, соседи – хотя какие соседи, хата одна среди гор, как перст. И солнце снопами рассыпает лучи за горами.

– Ты його брат? – спросил торжественно дед.

Все чуть-чуть задвигались, а Ан вздрогнул и поднял глаза на лицо деда.

– Брат, – констатировал дед, – ну, так слухай.

Наш Алик приехал утром, его поместили в приготовленные для него комнаты в пансионате, где, как правило, останавливалось начальство или солидные туристы. Потому ли, что комнаты показались ему большими для одного, или по чему другому, но он даже вещи не распаковал и попросил, чтобы отвели его в горы «на волю до добрых людей».

– Його привели до нас, – не без гордости сообщил дед, и все вокруг кивнули, подтверждая, что лучшего места для такого важного гостя быть не могло.

– Вин трохи поив и попросив горивки, – Ан опять быстро посмотрел на деда.

Наш Алик никогда не пил, и это была его особенность, вроде как его заикание.

– Мы посыдили трохи за цим столом, та прийшов час идты до церкви, бо була свята неділя. Ось мы уси зібрались, а вин питає – чи можна йому з нами?

Все вокруг закивали – так и было.

– Чого не можно? Бо видно, що людына вин добра. И диткы до його тулились – а диткы липше нас знают про людей. Пишлы уси гуртом.

Нам потом показали эту церковь – на горе, черная и будто с поднятыми к небу черными, как у этого деда, руками – такими крестами. Внутри она была неожиданно просторная и гулкая, с куполом, сквозь который свет падал снопом, как солнце на горы.

– Ось мы уси посидалы и слушаем нашого батюшку – бо вин у нас дуже файно говорить, хоть и довго, так що диткы не вытримуюсь и починають грати по куткам.

Все вокруг согласно кивали.

– И от закинчилась проповодь, сидымо, молымося – и тут пиднимається ваш брат и говорить на нашый мови: «Люди добри! Помолытєся гуртом за мого брата, бо моих молытв Бог не чує». И заплакав, стоячи перед нами усимы.

Ан сильно вздрогнул. Все снова закивали, а женщины стали смахивать слезы.

– Ну мы помолылыся гуртом, и батюшка дає знак, що пора починаты пение. А жинки наши поють, як янгели, – то вам кожен тут скаже.

Все опять закивали, а женщины немножко замахали руками, мол, не это главное. Дед строго посмотрел на них и продолжил после паузы.

– От спивають наши жинкы, кожен молытєся, як може и

про що може. И тут нам здалось – янгел злетив и заспивав з нами. Ми сидили, и кожен розумив, що то чудо прийшло, яке буває раз в житти, и то не з усима.

Молчание, которое нависло на поляне в снопах солнца, передало драматизм того переживания. Дед строго оглядел всех, как будто бы проверяя, все ли уразумели величие момента. И продолжил.

– А колы мы таки пиднялы голови и оглянулысь, то побачили, що то спивае ваш брат – стоить перед алтарэм и выводить, як хэрувим.

Мы с братом оцепенели – заикание Алика никогда не позволяло ему не то что петь, а даже говорить громко среди людей – он всегда конфузился, если нужно было открыть рот.

Дед еще строже посмотрел на нас двоих – догадался, что мы не только не переживаем вместе со всеми с трепетом, но и мысли наши о другом.

– Вин спивав, як хэрувим, – даже грозно повторил дед. – А мы уси встали и слухалы його, плачучи. И так вси стояли, поки вин не закинчив.

Снова длинная пауза, и длинное молчание без движения на поляне.

Ан сидел белый как мел, и глаза его стали такими зелеными, какими бывает только трава после грозы.

– А колы вин закинчив, то розкынув руки и вопросив: «Ты мене чуешь, Боже?» И знову заплакав. И мы уси стояли навколо и плакалы разом з ним. А батюшка наш зробыв нам

знак, чтобы мы не розходились, коли ваш брат знову повернувся до алтаря и підняв молитвенно руки.

Так они стояли все в церкви, и брат пел им и пел.

Дед показал нам осанистого мужика, который подтвердил, что пел великий артист, потому что он сам, Остап Непийко, был в самом Киеве и много слушал хор Софийского собора, который знает весь мир, и потому может отличить пение мастера. Так вот, наш брат пел лучше, чем тенора в том хоре. Потому что он, Остап Непийко, знает того профессора консерватории, у которого наш брат обучался.

Тут мы с Аном вообще раскрыли рты – наш Алик? Консерватория? Обучение?

А Остап Непийко важно достал из-за пазухи пакет, завернутый в красный платок с вышивкой петухами, долго его разворачивал – и вся громада смотрела на него – и передал его нам.

На конверте и правда был написан адрес Киевской консерватории, а внутри лежало письмо от Алика, в котором он благодарил профессора Концевича за все добро, что видел от него, за все уроки, которые были лучшими часами в его жизни, и просил простить его, что бы о нем, своем ученике, тот ни узнал.

Ни мне, ни Ану брат не написал прощального письма – а что это письмо было прощальным, сомнений не возникало.

На Ана я боялась смотреть – казалось, кожа треснет у него на скулах, так крепко он стиснул зубы.

После церкви, откуда нашего Алика провожали все прихожане как большого артиста и человека, брат перешел в «колыбу» – трактир, где по воскресеньям после церкви мужики вели неспешные разговоры за чарками горивки или меда. Там он тоже пил, пел, и всем запомнилась особо одна песня, после которой он тоже вопрошал: «Боже, ты мене чухешь?»

Я хорошо помню эту песню с детства, в особенности когда мы с Аном ездили на пароходе по Днепру в казацкие «таборы». Там вечерние застолья всегда заканчивались тем, что какой-нибудь высокий тенор начинал выводить под «шляхом». Млечный Путь, видный в степи ночью, и правда, как молочная дорога, называется у них казацким шляхом.

До сих пор помню слова этой песни, которые неразрывно у меня связаны со звездным небом и притаившейся жаром в ночной прохладе необъятной степи: «Дывлюсь я на небо та й думку гадаю, чому я не сокил, чому не летаю, чому мені, Боже, ты крылив нэ дав, я б землю покинув и в небо зли-тав...»

Нашли Алика утром в долине. Он тихо приплыл туда по небыстрой горной речке, так что на теле не было ни ран, ни ссадин.

– Вин лежав на спыни и очи його булы розкрыти так, наче вин бачив Бога. Святый був чоловик, – завершил свое сказание дед.

И ушел вместе со всей громадой.

Только осанистый Остап Непийко долго доказывал еще нам, каким великим артистом был наш брат, и просил разрешения самолично передать в руки письмо профессору из консерватории, потому что для него, для Остапа Непийко, это будет большая честь. Наконец и он растворился в незаметно упавшем вечере.

Мы же Аном долго сидели на том месте, где нашли нашего брата. Я молилась, чтобы Ан заплакал, но Бог ему не дал слез. Только кожа на скулах натягивалась все туже, так что я боялась уже заглядывать ему в лицо.

В общем, мне было ясно все. Когда Ан сказал, что проводит меня на самолет и останется здесь, я прощалась с ним навсегда.

И когда он повернулся спиной, быстро пошел по зеленому полю, на котором, как кузнечик, притулился мой самолет, — я, неожиданно для себя, перекрестила его прямую, как струна, спину.

Он почувствовал, обернулся резко и погрозил мне пальцем, как всегда, когда приказывал: «И думать об этом не смей!» У меня немного отлегло от сердца.

Но больше мы в этой жизни не увиделись.

Ровно день в день, спустя год после смерти брата, Ан канул в ту лунную дорожку, и я точно знаю, что он ощущал, как руки брата его поддерживали на плаву, пока он еще был человеком, а потом, когда он стал волной, серебряным све-

том, направили по Млечному Пути.

Я верю, что им там обоим не одиноко.

## Меньшие братья

...а мне было одиноко. Как какому-нибудь зверю в чужом краю. Или камню у дороги.

Когда после горя добавляют: «Но жизнь брала свое» – да что она брала. Взять у меня было нечего. Разве что я осталась живой, длинноногой и красивой – а то, что камнем у дороги, зверем в ночном лесу, – так про то молчок.

Я полюбила молчать после смерти братьев. Наверное, поэтому водилась больше со зверьем – вот мои два «романа». Печальные, как все, что связано с любовью. А мы друг друга любили.

Однажды, длинноногая и красивая после моря, куда ездила всегда одна – это были наши встречи с Аном, хоть он еще и не научился посылать мне из глубин серебряных рыб, – в поезде ночью из купе проводника я услышала такой разговор: «Мне сказали, живой нужен, а то шкурку выделывать трудно». И рука с толстыми пальцами показала на кудрявой спинке, какие куски получатся на шапку. А лохматый белый щенок стоял и вилял хвостом. Даже ухо с черным пятном поднял – так слушал.

Я так и назвала его – Шапка.

Когда я отняла бедолагу у проводника – тот еще и оштрафовал меня за провоз собаки без документов, – мы остаток ночи сидели с Шапкой в коридоре на приставном стульчике –

из купе нас тоже выгнали – и смотрели на проносащиеся за окном огни. Время от времени он поднимал ухо и смотрел на меня, будто спрашивал: «Ты-то кто?»

Камень у дороги. Столб верстовой.

В Питере нас встретил дождь, а когда мы шли по перрону, Шапка заметался, и я поняла, что на таком вот вокзальном перроне его и украл тот злодей.

– Горе мое, – сказала я ему, потому что дома у меня жил не только кот, но и двадцать человек коммунальных соседей.

Шапка был такой маленький, не успевал за мной, приходилось ему подбегать все время, и я в своих невеселых мыслях посмотрела на него без любви и дернула за поясok, который пристроила вместо поводка.

А он кривенько так и несмело улыбнулся мне снизу.

– Горе мое, – повторила я и заплакала наконец.

Как-то так получается, что я не плачу, когда теряю, – я отмираю.

А тут я стояла на мокром перроне и оплакивала своих братьев – оживала.

А Шапка улыбался мне кривенько снизу.

За эту кривенькую улыбку я его и полюбила на том мокром перроне.

И была эта любовь взаимной.

Хоть и ждали нас впереди не калачи.

Не только непримиримые соседи, но и кот Тишка ни за что не захотел признавать нового жильца: забирался на

шкаф и оттуда громко на него плевался. А когда оставались наедине, то потом я заставляла Шапку то с поцарапанным носом, то с глазом.

Я стала брать сироту с собой на работу. Там он сидел тихо у меня под столом и только вздыхал от чувств, чем приводил в смущение моих посетителей-поэтов, которые собаки под столом не видели.

Однажды он прокрался за мной, заблудился и оказался в кабинете главного редактора. Тихо вошел, как это только он умел, и сел посреди ковра, на который у нас вызывались провинившиеся.

– Поднимаю голову – сидит, беленький, и на меня смотрит. И не шевелится. Думаю, все, пора завязывать, кончилось мое время, – рассказывал потом редактор, человек широкой души и, как всякий такой человек, пропускавший не один стаканчик в день.

Помню, как-то нас с Вовкой, ответственным секретарем, призвали на тот самый ковер виноватыми. Кончилось тем, что мы на троих распили бутылочку чачи, которую из Грузии привез хозяин кабинета, и на топтушке – дневном совещании – главный с умным видом держал газетную полосу вверх ногами и распекал, почему поставлена не туда фотография. Вовка что-то мычал в ответ. А я уютно притулилась к мягкой Маринке и подремывала.

Как бы то ни было, главный принял участие в жизни Шапки – велел описать историю бедолаги в газете, и наш фото-

граф сделал его отличное фото. Этот номер я принесла соседям.

Стоит ли говорить, что те не только пустили на житье непрописанного жильца, а каждой собаке в округе показывали газету с его портретом.

А когда у меня в комнате проводилась съемка для телевидения и соседи в коридоре могли видеть на мониторе Шапку крупным планом рядом с известным актером, возле которого мой зверь неназойливо, но упорно пристраивался каждый раз, сколько я его ни отгоняла, – то соседи прямо в ночных сорочках и босиком обнимали друг друга от восторга. Это была слава.

Тишка же в это время, пользуясь нашей популярностью, перебрался в коридор, захватил себе пустующий стол на огромной кухне и стал склочным коммунальщиком – устраивал драки с пышнохвостым красавцем Маркизом, на которые сбегались все жильцы и потом долго спорили, чей кот взял верх.

В комнату к нам Тихон приходил только для того, чтобы, подергивая хвостом, обнюхать все углы – с каменной мордой игнорируя наличие Шапки – и биться насмерть потом с Маркизом в коридоре.

Оба моих меньших брата любили меня, каждого из них любила я – но общей любви и дружбы не получалось.

И всего один раз я почувствовала полную солидарность своего зверья. Это было в зимний вечер, когда я принесла с

улицы отобранного у мальчишек сироту котенка – они держали кроху за передние лапы и крутили колесом. Лапы были вывихнуты наподобие крыльев, уши обрезаны, и кровь капала на пол, когда я клала его на подстилку.

Шапка попятился в угол и так и остался там, не притронувшись к миске. Потом – впервые за долгое время – вошел Тихон и сел рядом с Шапкой.

Так мы провели ночь, пока умирал маленький мученик. И глаза у моих зверей горели холодным пламенем из угла, а когда все кончилось и я завернула бездыханный комочек в подстилку – оба зарычали и зашипели на меня.

Ведь и я была из того племени, которое такое делает со зверьем.

Как в давнем детстве, меня утешила мысль, что я тоже умру.

Как-то совсем не гордо было ощущать себя человеком над маленьким трупиком.

Пусть уж мы все умрем.

А звери мои мне простили.

Они всегда мне всё прощали.

А Шапка не только прощал, но и знал всегда, что со мной происходит – до минуты.

Помню, в Москве горел Дом актера – а я там была, просто счастливо ушли до беды, – в это самое время в Питере Шапка, который всегда требовал водить его на поводке, так боялся потеряться, прибежал ночью от моих друзей через весь

город к нашей квартире и поднял весь подъезд лаем и воем.

Когда я вернулась на следующий день, он плакал у меня на руках от счастья – наверное, в другой, параллельной жизни я сгорела в том пожаре.

Стали мы с Шапкой неразлучными, насколько это было возможно. И хоть он ревновал меня горестно ко всем не хуже Тишки, вида не показывал. Помню, улетал мой друг любимый. Чтобы сказать ему какие-то слова перед злой разлукой, мчались мы с Шапкой на такси в ночи, а когда к нам у входа в аэропорт бросилась сквозь повалившийся вдруг снег знакомая фигура, Шапка облизал всех вокруг с ног до головы от счастья.

Наверное, Шапка взял на себя многие беды, причитающиеся мне, возможно, даже откупил кусок сегодняшней моей жизни, с белыми волосами, в деревушке на горе с африканскими закатами, – потому что умер молодым.

Умирал он тяжело. От чумки, подхваченной у царственного Михайловского замка, за которым тогда выгуливали собак.

И до последней минуты последними усилиями тщедушного тельца все бежал ко мне, хоть лапы уже не двигались.

И сколько мог – не закрывал глаз, чтобы видеть меня, горе мое.

Я тогда в первый раз в жизни стала на колени и молила Бога, чтобы он помог Шапке почувствовать всю мою любовь к нему.

А еще просила, чтобы Шапка простил меня за все его одинокие дни, когда он с разочарованным вздохом укладывался на свой коврик, потому что понимал, что я уеду за город не с ним и не для него будет гон по желтым листьям и чайчи крики.

Когда я его выносила, завернутого в полосатую морскую подстилку, Тишка с Маркизом пошли сзади скорбным эскортом.

И стали мы жить вдвоем с Тишкой, который, правда, так и не захотел вернуться в комнату – навещал меня только. От неразделенной, как ему казалось после Шапки, любви ко мне он стал жестокосердным и злопамятным.

Чтобы подчеркнуть полную свою отдельность от меня, приходил он в основном всегда с моими гостями, вроде и сам – гость. И полюбил сидеть за столом, где я часто располагалась с диктофоном и брала интервью у своих гостей. Тишка сидел рядом на стуле и рассматривал, как движутся по стене тени от бахромы. Я так и назвала эту свою рубрику в знаменитой в те времена писательской газете – «У Тихона под абажуром». А когда в редакцию приехало телевидение, то кота потребовали в первую очередь, пришлось за ним съездить. И Тишка очень благовоспитанно поцеловал мне руку под камеру.

Надо ли говорить, что соседи мои смотрели передачу всем гуртом и вытирали глаза рукавами.

Гости мои тоже кота привечали и поощряли его самомнение.

Один только раз возникла заминка, когда я подала интервью на подпись ректору Духовной академии, а над его портретом красовался рисунок с Тишкой под абажуром – заставка.

– Это кто будет? – грозно громыхнул отец Владимир.

Я ему пояснила и рассказала про кота и Шапку.

Он даже умилился:

– Тоже тварь Божья.

И поставил затейливую каракулю.

Когда Тишка заболел, я поверила врачам и отдала его на операцию: «Такой молодой, мигом поправится».

Ждала под дверью и смотрела на большого забинтованного в разных местах, черного, как вороново крыло, пса – с тем же обреченным достоинством, что и Тишка до этого, он сидел и ждал своей участи. Хозяин рассказал, что пес проглотил иголку и вот теперь ему делают рентген каждый час и следят за ее движением. А когда находят, где иголка застряла, – режут то место и пытаются вынуть.

Спаси, Боже, зверье от людей – даже когда они благотворят, они обрекают меньших братьев на еще большие мучения по своему человеческому недомыслию.

Когда мне вынесли бездыханную тряпочку вместо моего Тишки – он прожил потом всего две недели, – я не успокаивала себя мыслями, что хотела ему добра. Я его предала –

вот что было правдой для Тишки.

Поскольку мой зверь был знаменит и любим членами писательской братии, похоронили мы его под соснами на даче Анны Ахматовой в Комарове.

Там жила тогда Титова, с которой мы и делали ту писательскую газету. Помню, когда на наш вечер ломились в Дом писателя поклонники и выбили стекла во входной двери, она очень переживала, а когда из зала стали кричать: «Тихона, кота на сцену!» – то стала стучать карандашом по графину и лицо у нее было испуганным.

Потом ее прах тоже похоронили в Комарове.

А я помню, как мы шли с ней после похорон Тишки и говорили о том, что если уж умереть – то хорошо лежать под соснами.

# Похороны

...на нашем маленьком кладбище у открытой могилы Алика играл оркестр и говорились красивые речи. Был солнечный, как будто бы праздничный день поздней осени. Гроб без стука опустили на мягкие сосновые лапы в сухой песок, и даже комья о крышку не стучали – только шуршало, будто утекал песок в узкое горлышко огромных песочных часов.

Мама напряженно вслушивалась в этот звук, заглушаемый музыкой, – оркестранты играли не похоронную музыку, а украинские народные песни, так что гуляющие рядом в лесу заглядывали на звуки и оставались с нами.

Когда на свежий желтый холмик положили последний венок, его окружало уже немало горожан кроме нас, семьи, и бронзоволицых друзей.

И все признали, что это был хороший конец.

Я ничего не рассказала маме о том, как умер Алик. Но разыскала в Киеве профессора, которому тот самый Остап Непийко самолично и срочно доставил прощальное письмо брата.

По каким-то неведомым признакам старичок-профессор сразу признал во мне сестру, обнял и без слов заплакал. Был он таким сухоньким и так мало в нем было полнокровного людского, что я тоже заплакала, как будто бы в поле под деревом.

Он рассказал, что уже много лет брат каждый отпуск проводил с ним в занятиях. А пришел брат к нему по объявлению в газете, еще во времена обучения в институте – пришел, чтобы профессор помог ему избавиться от заикания.

– Но поверьте мне, даже когда он не пел, а говорил со мной, он не заикался. Я предложил ему спеть, чтобы полностью освободить дыхание и избавить его от страха звука. Когда он запел, я заплакал, как плачу сейчас. Потому что это был редкий голос. Редкий, загубленный голос – конечно, с ним надо было заниматься с детства, ему нужна была консерватория, а не эти его камни, ему нужна была Италия – он мог бы радовать мир.

Слезы текли по сухонькому лицу, и он стирал их маленькими, как птичьи лапки, ладошками.

– Поверьте мне, милая барышня, Концевич всегда сумеет отличить Божий дар от яичницы – так я сказал когда-то комиссару, который требовал, чтобы я сделал из него артиста только потому, что его, комиссара, поставили директором в консерваторию. Десять лет лагерей не такое большое испытание для Концевича – мы, евреи, привыкли терпеть. Но Концевич никогда не назовет артистом невежду. В награду мне Бог послал вашего брата – его душа была такой же чистой, как голос, и он умел терпеть, хоть и не был евреем. Я бы с гордостью назвал его своим братом.

– Вы ему больше, чем брат, – только и сказала я.

И мы опять заплакали.

Это было до похорон, оркестр мастеров на которые при-  
слал из Киева Концевич.

И долго еще в нашем утопающем в тополях и пыли город-  
ке вспоминали, как играли на похоронах геолога.

Отца на похоронах не было.

Как только пришла весть о смерти Алика, он тут же лег в  
госпиталь – на обследование. Отец панически боялся смер-  
ти, и все, что могло навести на мысль о ней, тщательно ис-  
ключал из своей жизни. Он не приходил на могилу к сыну,  
оправдывая это тем, что его сердце не выдержит.

Мама со своим сердцем днями простаивала у холмика –  
сначала занесенного желтыми листьями, потом укрытого бе-  
лым снегом. Она не расчищала – все, что делала природа,  
было для нее правильно и даже священо. Но именно в эти  
дни, как хорошо, по общему мнению, она ни держалась, в  
ее глазах появилось выражение, какое бывает у пойманных  
в клетку птиц – куда-то вдаль, мимо всех. Ее зеленые глаза  
стали как покрытое льдом озеро – не пускали вглубь, а во-  
лосы из высокой прически спадали вокруг лица, как сложен-  
ные крылья.

Весть о гибели Ана спустя год она просто не захотела при-  
нять за реальность – это я поняла позже, а тогда меня просто  
пугало то неподвижное спокойствие, с каким мама пережи-  
вала этот удар.

Поскольку Ан был известный художник на Украине, его

гибель – тем паче во время пребывания в Доме творчества – наделала шуму, завели дело и немало попортили маме крови, как и мне, в той комнате с задыхающимися часами.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.